

ПОВЕСТЬ

Моей щеки коснулся снег, я вздрогнула и обернулась... Кто выучил меня так быстро жить?.. Музыка? А я еще как бы не сняла после выпускного вечера светлые туфли, не стерла тушь с ресниц. Еще в ушах речь ректора: "Дорогие друзья мои! Всю свою жизнь помните заповедь великого пианиста Антона Рубинштейна: если я не занимаюсь один день — чувствую только я сам, два дня — чувствуют мои друзья, три — чувствует публика на концерте..." И не забыт еще запах новенькой красненькой книжки диплома. Неужели правда — моей? Никак не привыкнуть... И, значит, не поздно воротиться, взлететь, задохнувшись, на четвертый этаж, пробежать, стуча каблуками, к тридцать второму классу, открыть дверь и начать все сначала...

Придвигаю к роялю стул, отодвинутый тетей Феней, сажусь, открываю крышку траурно-черного "Блютнера". Клавиши молчат холодно, как бы не знают меня. Неправда! Мои пальцы оставили на них свой след: пот, смешанный с пылью, даже чернильное пятнышко на "ре" второй октавы. Я вытираю клавиши носовым платком, и они, узнав меня, вызвякивают что-то простенькое и благодарное.

Ссутулюсь, нажму левую педаль и тихо, медленно поиграю для себя...

1

"Учащийся, если он находится в недостаточном положении, может с разрешения директора пользоваться принадлежащим консерватории инструментом, но только в самом заведении — на дом же инструмент ни в коем случае не выдается".

Помнишь ли ты, что такое был первый урок? Что такое... Это шестичасовой трамвай, и я вдруг одна в нем.

Я в новом, специально для консерватории перелицованном мамой бежевом пальтеце, в выношенных замшевых перчатках. На коленях портфель, разбухший от томов бетховенских сонат, тетрадей, задачник по гармонии и музыкальной литературе... Ай, нет! Музлитература была в училище, а теперь — консерватория (никак не привыкнуть!) и, стало быть, история зарубежной музыки! Ах, какое счастье, что консерватория и история зарубежной музыки... Будет Бах, наконец-то "Страсти по Матфею" услышу, будет любимый Моцарт. Все еще будет... А невыспавшийся трамвай плетется как-нибудь! Мне скорей бы поспеть в консерваторию, захватить класс, лучше всего тридцать второй, там рояль хороший, и позаниматься часа два до лекции по музлите... Ой, по истории зарубежной музыки! Сегодня в четыре тридцать мой первый урок по специальности. Эшафот, выстроенный специально для меня. Что ж сделают? Ну, повесить вряд ли повесят — все-таки приняли, был страшный конкурс, человек десять на место. А-а, и повесить могут! Выгнать... Вон Шурик Балабкин из нашего училища, позапрошлого выпуска,

вылетел-таки из Саратовской консерватории, а поступил с пятеркой с минусом. Ой, ну что запугивать! Шурик после сессии вылетел, не мог историю пересдать, мне же до сессии жить да жить. Всего лишь первый урок, а я и наизусть две сонаты выучила и в темпе хорошем играю, Да-а, легко сказать: играю. Играю самой себе, могу маме с папой, училищной учительнице Ядвиге Адамовне, еще кому-нибудь...

Всем могу сыграть. А вот Леониду Яковлевичу... Леониду Яковлевичу, профессору, который ещё до революции учился у самого Николаева, мальчиком дружил с Софроницким... Леониду Яковлевичу, воспитавшему целую дюжину лауреатов и дипломантов, как играть перед ним!

Можно, конечно, пойти и забрать документы. Учебная часть открывается в девять, а пока похожу просто так по консерватории, по белым высоким коридорам, загляну на прощание в тридцать второй класс, скажу роялю спасибо...

Но это подло — трусить так! Что дома объясню, в училище: побоялась Леонида Яковлевича? Ну и дурочка, скажут. К нему так стремятся в класс, даже из-за границы едут и летят. Вон когда я на консультации была дома у Леонида Яковлевича, к нему негр приходил прощаться - окончил уже консерваторию. Они говорили по-французски, а я сидела и хлопала ушами, поняла только, когда Леонид Яковлевич сказал: "Мон ами..."

Решено, я остаюсь! Явлюсь на урок (в конце концов, куда же я еду уже целых двадцать минут?). Смело взойду на шаткий, с неубранными стружками эшафот и... сыграю сонату Шуберта. Только бы руки сильно не тряслись и коленки не дрожали. Я сыграю, и тогда начнётся настоящее: кон-сер-ва-то-рия.

"Да,— скажет мне Леонид Яковлевич,— вы прекрасно поняли Шуберта. Мы почувствовали во всем этом Вену, венские вальсы, венские каблучки, венские стулья, вкусные венские булочки и кофе по-венски..."

И, может быть, я стану после этого урока самая любимая ученица Леонида Яковлевича...

С ума сошла! Что ты выдумываешь, ты, верно, не выпалась... Ты и Софроницкий — возможно ль такое?! В голове Леонида Яковлевича, в красивой седой голове его, бережно хранятся, как бы переложенные папиросной бумагой, великий учитель Николаев и великий пианист Софроницкий, и ты туда? Ты — почти из деревни, из своего нелепого Сада, от своих родителей-немузыкантов, любящих Грига и робеющих перед натиском Прокофьева, милых, заботливых родителей, которые пишут, что усердно солят на зиму грибы и капусту, а картошку уже выкопали... Нет уж, дорогая, поди-ка и забери документы!

Хорошо, заберу. Только... Только доеду до консерватории, зайду в тридцать второй класс и поиграю немного...

Тоскливо и сладко было терзать себя в пустом утреннем трамвае!

Тридцать шестой трамвай, кстати, идет почти от самого общежития до конечной — консерватории.

2

"Профессор выбирает себе адъюнкта или помощника с утверждения директора".

Каждый профессор консерватории имел поровну обожателей и злопыхателей. Обожатели задыхались от восторга и глотали слезы. Злопыхатель произносил четко:

всякий урок у Леонида Яковлевича, профессора консерватории, был не просто урок, но открытый урок! Профессор вступал в консерваторию, и она тотчас превращалась в образцовую клинику, класс — в операционную, рояль — в лаковый операционный стол. Демонстрировать было кому: ученики, ассистенты, педагоги других консерваторий и училищ, приехавшие специально, чтобы послушать и, по возможности, записать урок выдающегося педагога. Самые дошлые приносили с собой магнитофоны, раздражавшие, впрочем, метра.

Леонид Яковлевич садился за второй рояль, откидываясь на спинку удобного стула, и ловким быстрым движением закручивал ногу вокруг ножки стула. "Пра-ашу", — бодро говорил Леонид Яковлевич и изящным жестом приглашал к роялю.

Ученики болели кто чем. Технической и эмоциональной недостаточностью, дурным вкусом, зажатостью, несобранностью — мало ли болезней на свете! Но профессор был готов к любой немоци. На своем веку он столько их перевидал, что не удивлялся, а обобщал все в одну — немоци молодости. Профессор не умилялся даже редкостному экземпляру: отсутствию слуха при наличии великолепной, эlegantной свободы, дерзкой беглости. Или этакому: врожденный вкус, умная голова и — корявенький пианизм.

Метода Леонида Яковлевича была в высшей степени проста. Сесть за один рояль с учеником — упаси бог! А если бы его и попросили, он бы вежливо и достойно возразил: "Ремеслу я не учу".

Леонид Яковлевич был выдающийся педагог. Он лечил старым, как мир, средством — словом. Собравшиеся купались в свежем потоке афористичных импровизаций.

— Вы играете музыку, купленную в магазине уцененных товаров. Унылую, выгоревшую, скучную, как драповое пальто до пят. А ведь это Шуман!..

— Помилуйте, что вы делаете! Зачем так выделять тему, ведь выделения не область эстетики!

Если лед внутренней зажатости удавалось растопить парой удачных афоризмов, то зажатость рук, особенно затянутое, как бы забинтованное запястье, всегда раздражала профессора и вызывала приступ отчаянной тоски. Лечить эти скучные "школьные" немоци надо было так же скучно и медленно, а профессор обожал рискованные темпы. Он был скорее хирург, нежели терапевт, и зловещим блеском скальпелей были знаменитые его афоризмы.

Вот что говорил про Леонида Яковлевича злопыхатель. Но я еще не знаю злопыхателей, для меня мир един. Я готова, я ложусь под нож со старанием и любовью.

Ах, первый урок! Если бы взглянуть на все это сверху, как в настоящих клиниках, то вышло бы забавно. Вон чей-то рыжий затылок — это я сижу за роялем. А вокруг меня явно классическая гармония, черно-белая. Черные рояли, черные волосы и глаза, черные лакированные ботинки на ногах Леонида Яковлевича, черные очки у одного мальчика с нашего курса, Гарика. Холодная белизна клавиатуры подчеркивает торжественность момента.

И вдруг — лямц! — в этом классическом периоде я. Мой яркий затылок здесь, как диссонанс, я это чувствую и краснею за собственную бестактность.

Но подожди играть Шуберта: пусть все угомонятся, поправят очки, чтоб видеть тебя, раскроют уши, чтоб тебя слышать, заготовят впрок остроту (кто гениальней?) о твоей рыжине. Подожди и скажи, чем была для тебя музыка. Твоя, только твоя.

Это был как бы Сад... Сад, выросший и звучащий в самом центре нашей семьи. Но только мне одной были известны законы его роста. Я, единственный садовник, растила и холила его. Первая кусала его зеленые плоды и нисколько не морщилась от горечи их. А вызревшие, они торжественно съедались моими родителями, интеллигентами в первом поколении, затем — родственниками, пришедшими в гости, наконец, просто знакомыми, случайно заглянувшими за ограду.

Однако никто не входил в мой Сад. Даже родители. Лишь иногда, когда я хозяйничала среди только мне понятных законов и обычаев моего Сада, они подсматривали за мной в щелку и радовались моему умению.

"Ну вот,— счастливо улыбаясь, думали они,— есть наконец и в нашей семье музыка. Как же она пришла к нам, нашей стала?.. Руки наши еще хранят в памяти брошенную землю, еще знаем мы, как стог сметать, корову доить, пахать. А дочка наша, кровиночка, плоть от плоти нашей, уже другое знает. Другая земля ей вовек дана, за ней она пускай любовно ходит".

Так мы и росли — я и Сад.

Были вначале хрупкие ростки, неуверенные, потом занялась вокруг свежая буйная густота. Сад вверх, вширь пошел, и, наконец, трудно стало продираться сквозь его вполне дикие заросли. А Сад еще подымался и грозил все взять себе в рост— желания, радости, неудачи, прошлое и будущее моей семьи...

Ну вот, а теперь поднять с колен похолодевшие руки и сыграть сонату Шуберта... — Бабуся, ни пуха!

Гарик. Единственный человек, кого я здесь знаю, с кем могу быть уже запросто. И он тоже. Он сидит сбоку, и я, вздрогнув от его шепота, благодарно ему улыбаюсь. Он тоже первокурсник, хоть и старше меня на год. На вступительном экзамене по специальности он шел за мной (играл, между прочим, двадцать третий этюд Шопена, и очень здорово играл); на сочинении мы тоже рядом сидели и тему писали одну — "Реакционная сущность Луки". У Гарика шпаргалок не было, а у меня — полные туфли, так что я даже хромала. Мы получили по четверке и баллы набрали одинаковые. Всех первокурсниц Гарик зовет мамашами, меня почему-то — бабусей. Но я не обижаюсь.

Гарик, миленький, помоги мне! Выругай шепотом, сожми кулак, закрой глаза и, на всякий случай, уши.

Я начинаю...

— Ну что же весьма недурно. Весьма. Что у вас еще в программе?

Боже мой! Вот и самое страшное: "недурно".

Шурик Балабкин предупреждал бояться "недурного": ему тоже сначала "недурно" говорили, а потом выгнали,

Пропала... И как он это произнес: "не-эдурно". Недурно! Да это когда никуда не годно, и он, чтоб пожалеть, чтоб не с моста в реку, — "недурно"...

— У меня... у меня Бетховен еще, шестнадцатая соната Бетховена, Леонид Яковлевич, я ее тоже... наизусть выучила...

Зачем говорю что-то! Ведь все равно уйду, заберу документы.

— О-о! Постарайтесь всегда быть такой обязательной; к первому уроку — наизусть. Только не "шестнадцатая", детка, а G-dur'ная.

Ура!.. "Всегда" — это значит, я буду на первом, и на втором, и на пятом курсе. Никто не собирается меня выгонять. Милый, добрый, прекрасный Леонид Яковлевич!

— Да, конечно, Леонид Яковлевич, G-dur'ная...

До чего же я трусливая! Ведь он произносит свое "недурно" точно так же, как тональность сонаты, — ге-дурная. Недурно, то есть прекрасно!

— Только выбросьте немедленно эту дрянную редакцию бетховенских сонат. Вы теперь не в музыкальной школе. Возьмите редакцию Мартиенсена или хотя бы Гольденвейзера.

— Ага... Да... я выброшу. У меня есть еще редакция Шнабеля, Леонид Яковлевич. — Ни в коем случае. Дети до шестнадцати лет, детка, к Шнабелю не допускаются. Вы слышите, Владик, Рита? Так и запишите в своих тетрадочках: не до-пус-каются. О-о, Сева, неужели это вы? Я вас не видел по меньшей мере лет пятьдесят. У вас тогда, помнится, были короткие волосы. Чем же я обязан? Или у вас инфаркт? Что это вы держитесь за сердце? Ах, это живот, простите, не разобрал... Кстати, не играете ли ВЫ эту шубертовскую сонату?

Оказывается, не одна я не причастна к гармонии. Вот еще один диссонанс. Некто, почти толстый, лохматый, очкастый, угрюмый, в тусклой фланелевой рубашке с расстегнутым воротом, не очень-то молодой... Или просто толстый.

— Н-нет, но я смотрел... н-немного.

Еще и заика! А может, струсил? Вот-вот, поиграй-ка и ты теперь...

— Тогда пра-ашу. Живо вылезайте из своего угла — и к роялю!

Леонид Яковлевич почти выкрикнул последнее, так что его "к роялю" прозвучало как бы: "К барьеру!" Это что же, дуэль? Между моим Шубертом и его, этого очкастого?

Первый выстрел еще только затакт, ля-минорный аккорд, но все уже кончено. Точно и навсегда...

О чем же ты думала, дурочка, когда живая была? О том, что Шуберт — это только десять листов нотного текста, которые надо срочно запихнуть в голову за две недели?

Неправда! И я так думала эту сонату, и я так хотела... Ах, как хотела бы сыграть так же, как он, этот толстый Сева, так некстати вылезший из своего угла! И я, может, сыграла бы, да первый пассаж смазала, и пошло-поехало разъезжаться... Зачем я здесь, я никогда не выучусь так играть! Мне больно слышать, как он играет... Он играет так хорошо, что я пойду и заберу документы. Уеду к маме, буду работать в музыкальной школе и тихонько играть что-нибудь из "Музыки отдыха". Шуберт не для меня...

Ах, но играть впервые перед всем классом, перед приезжими так страшно! Как будто надо раздеваться догола, да ещё не закрывать глаза. Тут человек двадцать, все шепчутся, хихикают, что я рыжая.

А Севу слушают молча. Он не боится, он, наверное, консерваторский второгодник...

— Благодарю вас, Сева. Но с вашей педалью во второй части я не согласен. Или вам нравится педальный запашок?.. Итак, Сева, вы должны подготовить нашу милую первокурсницу к первому уроку. Пока что ей нечего сказать, Шуберт ей не послушен. Позанимайтесь с ней...

"Нашу милую первокурсницу", — неужели это обо мне? Толстый лохматый Сева будет учить меня Шуберту?

Но я совсем не хочу! Я хочу учиться только у Леонида Яковлевича, у кого нежная седина и полоска на карманном платочке в тон серому, чуть с искрой костюму.

Вот-вот, а у Севы застиранная фланелевая рубашка. Зато слышала его Шуберта! Слышала... И все равно! Я его боюсь, он какой-то... второгодник. Да, в конце концов я поступила в класс Леонида Яковлевича и весь год, весь четвертый курс училища мечтала только об этом. А про всяких там угрюмых, неряшливых Сев я слыхом не слыхивала. Несправедливо отдавать меня ему. Не пойду к нему — и все тут! — Ну, так вы согласны, детка? Позанимайтесь с Севой. Не пугайтесь его. Он хоть и заросший, но мой аспирант и специалист по Шуберту. Я сам консультируюсь у него. — Хорошо, Леонид Яковлевич... Спасибо, Леонид Яковлевич... Да, Леонид Яковлевич... Пойду и заберу документы.

3

"Воспрещается курить в консерватории".

Мой Сад начался в марте. В лживом и прекрасном марте с дымным морозом по утрам, бездумными летними облаками и капелью в полдень.

Я уже давно, еще в начале третьего класса, заметила двух девочек с важно-усталыми лицами. Их важность происходила только от одного — от черных папок, которые они волочили за длинные тесемки по земле. Девочки были как бы маленькие рыцари, идущие "на вы" с черными картонными щитами. Нарисованных рыцарей я видела в учебнике истории для шестого класса, но куда любопытней оказалось подглядывать за живыми, вот этими самыми девочками с папками-щитами.

Я знала, что девочки ходят "на музыку", но что такое их музыка, мне было совершенно непонятно. Я смотрела, даже трогала потихоньку их папки, когда они случайно оставались в раздевалке; видела тусклое черное пианино, на котором они занимались с учительницей Галиной Ильиничной; знала, наконец, саму Галину Ильиничну (она вела у нас уроки пения), и меня вдруг стали волновать, прямо-таки раздражать эти внешние доказательства "музыки" девочек.

Ведь я любила петь, и пела разные песни, и знала от папы, что, кроме великих Некрасова и Пушкина, был еще великий Петр Чайковский композитор, то есть сочинитель музыки, портрет которого был выпукло изображен на девочкиных щитах-папках...

До девочек я не сомневалась, что только папа знает о великих Некрасове и Чайковском. А вышло, что и девочки, жалкие второклашки, как бы причастны к моему папе, к Чайковскому и, самое главное, к Некрасову, к моим любимым стихам о Школьнике:

... Ну, пошел же, ради бога! Небо, ельник и песок...

Мне стало обидно и немножко жалко себя.

Я тоже хочу "на музыку"! Я тоже хочу стать рыцарем и волочить по мартовскому снегу черную папку! Дайте мне все это, и я кинусь вослед ушедшим девочкам. Мне легко догонять их по маленьким, робким следам, даже не набухшим водой.

Я догоняю, догнала. Девочки уже порядочно сзади, но что там, за мартом? Дождался ли меня некрасовский Школьник?..

Сказать так — ничего не сказать. Самое главное — была музыка марта...

Прекрасная и лживая. Утром, когда я выходила из дому, был мороз, и я бежала поскорей в школу, чтоб согреться. А после школы, в полдень, — солнце, летние облака, раскисший, коричневый снег на дорогах.

Все начиналось и кончалось в марте. Кончался даже сам март, но должно было что-то вырасти из него (я умела уже такое чувствовать). Я ждала, я нетерпеливо хотела того, что должно было выйти из раскисшего снега, из летних облаков, из моей скуки и внезапного раздражения.

Вот тогда-то началась музыка. Я пошла на нее без папки-щита, у меня еще не было папки, так как с нашим магазине "Культтовары" они не продавались; у меня была только нотная тетрадка, обернутая в районную газету, тетрадка с одной-единственной исписанной строчкой: фа-фа-ми, ре-ре-до, фа-фа-ми, ре-ре-до...

Музыка, называемая "Петушок"! Это была даже не музыка — жалкий стук моих испачканных чернилами пальцев в ту дверь, за которой уже не март, а что-то другое...

Ах, как замечательно, что есть на свете музыка и что она уже знакома со мною, по крайней мере, я протягиваю ей свою чернильную руку:

— Фа-фа-ми, ре-ре-до.

Я бегу домой вприпрыжку, от радости я бездумна, как эти летние мартовские облака. Я уже проводила, я прямо-таки выпроводила март со своего крыльца... А он еще не кончился...

"Евдокия Алексеевна скончалась сегодня ночью..."

Что это, какая еще Евдокия Алексеевна! Я знать не знаю никакой Евдокию Алексеевну, у нас и знакомых-то таких нет, не то, что родственников. Есть тетя Лиза, мамина сестра, она живет в другом городе; есть бабушка Дуся — мамина мама, и была еще бабушка Шура — папина мама, но она умерла давно, когда меня еще совсем не было.

А... бабушка Дуся — это же... Евдокия... "Евдокия Алексеевна скончалась сегодня ночью" — это же о ней, о бабушке Дусе!

Она скончалась, так написано.

Как это, зачем она скончалась, когда все только-только началось? Фа-фа-ми, ре-ре-до. Ничего больше нет — одна моя музыка! Мой славный любимый Петушок, раскричавший всему свету, что я теперь дружу с музыкой.

"Ага, правильно, это нам телеграмма, маме и папе, они скоро с работы придут! Можно, я за них распишусь? Я уже умею расписываться: свою фамилию без последней буквы. А Евдокия Алексеевна — это, правда, моя бабушка, я только забыла, как ее зовут..."

Все, все забыла в своей петушиной радости! И как бабушку зовут, и что март еще не кончился.

Но я и хотела, чтоб не кончилось, а началось! Только-только: фа-фа-ми... Я уже умею хорошо играть на пианино! Правой рукой...левой рукой... Двумя руками вместе... Фа-фа-ми, ре-ре-до... Играю так громко, что пианино дрожит и слетает с него на пол белый листок с наклеенными строчками: "Евдокия Алексеевна скончалась сегодня ночью..." Слетает специально, чтоб у меня спутался "Петушок". А он вовсе не путается. Я играю, играю, и с каждым новым разом мой Петушок бойчее клюет свои зернышки-нотки.

Бабушка не видела, как я играю. Ей писали, что я теперь учусь играть на пианино, но она не видела. Если бы она приехала из больницы и услышала моего Петушка, ей бы понравилось. Она же любила кур и долго-долго, до самой болезни, в колхозе работала птичницей. Ну, как бы вышло замечательно, если бы бабушка увидела меня за пианино! Взяла бы и приехала на немножко, одним глазком глянула бы, как я пасу Петушка, и поехала назад. Скончаться... А может быть, и передумала бы. Передумала и осталась, и мы бы пасли Петушка в четыре руки: бабушка в контроктаве, а я — в первой, или наоборот, какая октава ей больше понравится. Я уже так научила играть двух девочек и одного мальчика из нашего класса, и мы играем быстро и громко. А у нас с бабушкой вышло бы еще лучше, потому что бабушка способная к музыке, мама сказала. Бабушка пела в церкви, знала все песни — и русские и украинские, даже сама песни придумывала... Мама радовалась, что я в бабушку: "Если из тебя толк выйдет, бабушке скажешь спасибо".

А теперь мне некому сказать спасибо. "Евдокия Алексеевна скончалась сегодня ночью..."

И мне почему-то расхотелось играть "Петушка". Я вдруг подумала: я ведь знаю, что такое музыка.

Это когда началось и кончилось. Когда кисло и сладко. Радостно и больно — и все вместе...

Я почувствовала такое, и мне сразу сделалось немного скучно. Мне даже расхотелось дальше учиться играть на пианино. Чему учиться, когда я все уже умею. Играю "Петушка" правой рукой, левой, двумя руками вместе, могу быстро и медленно, тихо и громко. Чему тут еще можно выучиться!

Мама и папа поехали хоронить бабушку, а меня не взяли: кончалась четверть, шли контрольные, и я еще простудилась. Я жила пока у соседки Дарьи Ивановны, мне было скучно с ней, хоть она и варила каждый день мой любимый жидкий клюквенный кисель. Мама велела мне слушаться Дарью Ивановну, и я слушалась, потому что мама обещала мне привезти что-нибудь из города.

И привезла! Последний бабушкин подарок — коричневую нотную папку с выпуклой картинкой (я еще не знала, что это лира). Торопясь, я развязала коричневые тесемки и ахнула еще раз: в папке лежала тоненькая синяя книжка с названием "Нотная тетрадь Анны Магдалины Бах".

И мне снова захотелось учиться! Я уже знаю, что музыка — это вечный март с раскисшим снегом, бездумными облаками, скукой и болью... Но ведь так хочется знать еще, кто такая эта Анна Магдалина Бах, и почему у нее такое имя смешное, почти "Мандолина", и что записано в ее тетради, неужели мое: фа-фа-ми, ре-ре-до?.. А через два года я переиграла из этой тетради почти все пьесы — менуэты, волынки, полонезы — и отложила ее в свою тумбочку, где уже лежала ненужная, пожелтевшая по краям нотная тетрадка с мартовским "Петушком".

И случилось чудо.

Дверца в тумбочку закрывалась плохо, и раз утром я слышу изнутри чей-то писк. Раскрываю дверцу — чудеса!.. В тумбочку ночью забралась наша кошка Варвара и родила на моих нотах четверых котят. Варя лежала обессиленная, слепые мокрые комочки тыкались ей в живот, она лизала их и не смотрела на меня своими усталыми глазами. "Ну, вот видишь, — не говорила она мне, — что я могла с ними поделаться... Они непременно хотели родиться в этом чистом, белом домике, на этой синенькой книжке".

И до сих пор на выгоревшей синей обложке "Нотной тетради Анны Магдалины Бах" целы пятна кошкиной крови...

Трудно мне отлепиться от детства! Сколько ни отгоняла, бродят со мной по консерватории Петушок и кошка с выводком котят...

Впрочем, никому до меня дела нет: все глубочайше погружены в себя. Вот один: сутулый, лохматый... Я робко здороваюсь, а он не слышит. Или не видит... А навстречу другой: прямой, седовласый, в прекрасно сшитом сером костюме, в лаковых туфлях. Леонид Яковлевич сойдет с ковровой дорожки, чтоб пропустить Севу и не выдержит:

- Сева, вы стали до неприличия близоруки!

Возьмет его под руку и заходит с ним взад-вперед, стараясь попасть в Севин шаг.

— Севочка, за лето вы превратились в совершеннейшего бирюка. В чем дело? Вы не стрижетесь, не здороваетесь. Вы почти не бываете в консерватории. Вы разучились улыбаться... Да, вы стареете, Сева, а я, признаться, терпеть этого не могу... Я вам отомщу. В следующий раз вовсе не окликну, проходите мимо. Ах, Сева, мне грустно! В первый и уже, видно, в последний раз я обломал зубы. О вас, друг мой... В конце концов, дело не в вашем теперешнем виде — бог с ним,— меня удручает, что и в музыке вы проглядываете схимником. Недавний ваш Шуберт убедил в этом. И знаете, я не удивляюсь, не возмущаюсь — я просто раздражен вами... Да вы права не имеете, голубчик! В конце концов, прежде чем схиму на себя брать, монахом походите. Да-да, дружок: молодым грешным монахом! Ах, Сева, Сева, не сердитесь на меня! Я устал сегодня... Эта утомительная кафедра!.. Но в вашем Шуберте мне было зябко... А я хотел бы слышать в нем, кроме прочего, тепло и уют Европы. Именно, Сева, именно Европы мне не хватило! Да знаете ли вы, голубчик, что водопровод и канализация были в Австрии, в Зальцбурге, уже четыреста лет назад?! Взгляните, голубчик, на уютный опыт Европы с ваших дремучих высот, он заслуживает, уверяю вас...

Они ходили по торжественному коридору под руку, обычная консерваторская пара: профессор и ученик. Ученик молчал, свесив лохматую голову, а профессор говорил и немного брызгал слюной.

— Да, кстати, Сева. Я подумал и решил, что вы возьмете себе и эту первокурсницу, рыженькую девочку. Итого, у вас трое. Да плюс заочница Гринько. Ничего, ничего, конкурс еще не вдруг, а некоторое общение с молодежью будет вам на пользу... У этой славной рыженькой минимум "школы", а я, знаете ли, слишком стар, чтобы учить ее грамоте. Кроме того, ей необходимо "ортопедическое" вмешательство: выправьте ей "свод" в октавах, дайте поиграть что-нибудь лекарственное... Да и не умею я, Сева, учить грамоте! Сам жизнь без этого прожил, играл, как бог на душу положит. Посмотрите на эти руки: коротенькие сардельки, усыпанные старческой "гречкой". Скажите, пожалуйста, чему я могу выучить такими руками?! Нет, друг мой, это — ваше дело: у вас образцово-показательный аппарат. А я стар, и мне остался лишь мастерский глянец... Грустно, Сева! Да, я улетаю послезавтра. Сибирь, Дальний Восток... Гастроли рассчитаны на три недели, так что где-нибудь через месяц я появлюсь в консерватории. Перед академконцертом приведите их всех ко мне. Для глянца, друг мой, для окончательного глянца...

"Дорогие мамочка и папа! Вот уже почти три недели я консерваторка. Не верю до сих пор! Сегодня во сне снова сдавала экзамены и провалила сольфеджо. Просто ужас какой-то!.. О том, что я в классе Леонида Яковлевича, я уже писала, но коротко. В общем, Леонид Яковлевич – это тот самый профессор, который зимой приезжал в наше училище и давал со мной открытый урок и ещё сказал, что я светлая головка...

И вот Леонид Яковлевич взял меня в свой класс. Но не совсем взял. Как вам попонятнее объяснить... В общем, у него есть аспиранты-ассистенты, и вот одному из них, Севе, он меня отдал. Теперь я буду не у одного педагога заниматься, а у двух сразу. Я только не знаю, как мне этого Севу звать: Всеволод Геннадьевич или Сева. Его все тут Севой зовут, а я боюсь: он пожилой какой-то.

Вы не расстраивайтесь, пожалуйста, что я у двух сразу. Ты, мамочка, я знаю, расстроишься. А вот и, зря! Это даже хорошо. Один одному учить будет, другой – другому. Так здесь делают. Это ведь консерватория, мамочка, а не какое-нибудь музыкальное училище, где нет ни одного профессора и, стало быть, ни одного ассистента. Послезавтра пойду к Севе на урок, потом напишу...

Времени совсем нет. Встаю три раза в неделю в пять утра и еду в консерваторию заниматься до девяти, до лекций. Еще занимаюсь в общежитии, делим с девочками время. Инструмент, правда, никудышный. У меня уже есть одна подруга, Майя Шихразеева. Она флейтистка из Махачкалы...

Ах, дорогие мама и папа! Мне здесь очень хорошо, но я скучаю по дому и по детству. Передайте ему привет—этот желтый листок из моего Сада..."

Еще раз попробую этюд с самого начала. Вот так!.. Нет, слишком быстро, в таком темпе еще не сыграть, руки зажимаются, басы хватаю какие попало... До урока два дня, а еще фугу наизусть доучить. Разрешали бы на ночь в консерватории оставаться!

И все-таки сыграю. Отдохну и сыграю. Просто устала... Отойду от рояля, посмотрю на него сбоку, и — как в детстве — на что это похоже?

Голова черного бронтозавра — вот что такое! Мощно вытянутый затылок, длинно оскаленный рот. Не рот — пасть!

А если закрыть крышку?.. Тогда рояль — это всего лишь кусок черного льда, одинокий айсберг в тесном океане тридцать второго класса. А мне всю зимовку, все пять консерваторских лет полоскать в ледяной воде клавиатуры свои фуги, сонаты, этюды, вариации...

Но я хочу домой! Я ведь не привыкла все делать руками. Дома у нас стиральная машина "Рига-8", водопровод и уютное пианино. Дома тепло и современно.

А здесь, в консерватории, ещё и не думают вымирать черные и коричневые бронтозавры (их тут целые стада пасутся), здесь полощут руками в прорубях. Здесь даже говорят, что девицам курить — уже не модно!

На истории зарубежной музыки с удивлением узнаю, что во время Французской революции была консерватория.

Какой-нибудь отчаянный Гаврош отодрал от булочной вывеску, на ржавой обратной стороне начертил углем: "Conservatoire" — и весело приколотил над распахнутой дверью.

Консерватория была тогда Приютом, и сколько сирот накормила, одела и отогрела она! Их первым учителем музыки был восторженный народ, их классами были гудящие день и ночь парижские площади. Первые консерваторцы учились писать фуги на тему "Марсельезы"...

А кто-то, в пыльном парике, брюзжал: "Приходится лишь удивляться, что есть люди, затрачивающие на овладение этим искусством столько времени, труда и сил. Если бы оно не требовало таких усилий, можно бы еще допустить, что кое-кто из любопытства потратит на это дело час-другой, как он проводит время за стрельбой из лука или за игрой в кости. Но в музыке надо изучить такое количество разных правил, что на это не хватит целой жизни. Это лабиринт: чем дальше люди отваживаются в него проникнуть, тем больше они блуждают. Сколько надо времени, чтобы выучить хотя бы ноты, до того как человек будет в состоянии петь по этим нотам или находить на струнах нужные звуки! Сколько существует самых различных инструментов! Человеку, захотевшему хоть бы немного играть на каждом, не хватило бы целой жизни, чтобы этому научиться. Какое бесконечное и бездонное море всяких трудностей должны переплыть те, кто хочет заняться композицией! Они умрут много раньше, чем достигнут пристани совершенства..." Гаврош лихо свистнул на флейте, оборвал брюзжание. Какое им дело до смерти, когда они ушами, пальцами, губами чувствуют, что Французская революция и Музыка бессмертны!..

Ах, консерватория, консерватория, приюти и меня! Мне так больно чувствовать себя сиротой в этом мире, брызжущем пассажами и колющем электричеством трелей. Я так хочу понять этот терпкий язык! Нет-нет, я не перейду с этим миром на "ты", буду вежлива и скромна, всего лишь учительница музыки, но ты, консерватория, хоть чуточку приласкай меня...

Брожу по консерватории, как по новому Парижу: попадаю в величественную экспозицию — площадь ми-бемоль-мажорной сонаты Гайдна; прохожу мимо вокального класса и задираю голову вслед золоченому шпилью — восторженной фиоритуре сопрано; глаз не могу оторвать от державного течения виолончели. Я брожу по великолепному городу, и никто не замечает меня. Я бесприданница. Со мной лишь диковатые заросли моего рыже-зеленого Сада, наивные пальцы в Моцарте — это никому как будто не нужное чувство. Приютит ли такую консерватория?..

5

"Адьюнкт совершенно подчинен профессору, к которому он назначен, в методе преподавания".

Второй, или третий, или четвертый урок у Севы. У толстого Севы, ставшего нечаянно моим главным педагогом.

Уроки с Севой так же отличаются от уроков Леонида Яковлевича, как европейская столица от районного городка. Там — шум, блеск, риск, гул восхищения, здесь — тихая заводь.

Мне обидно. Меня как будто без причины не пустили за границу. Всех пустили, а меня — нет. Мне обидно и... уютно дома. Нас только двое, я почти освоилась и уже не краснею перед Севой.

Сегодня Сева, наконец, не во фланелевой, а в шерстяной коричневой рубашке. Она ему идет — он умеет, оказывается, быть слегка элегантным. А вот то, что он постригся, мне вдруг неприятно... Как будто окончательно переболел лохматой молодостью, стал здоровым и скучным.

— Нет-нет, это совсем не Бах. Вы бормочете себе под нос. Ну-ка, что здесь написано?

— Поко артикулято...

— Именно. Тщательно произнося, то есть. Артикуляция — это произношение.

Неужели угрюмый Сева думает, что я не знаю про артикуляцию!

— Да, конечно, я знаю, Всеволод Геннадьевич, я книжку Браудо об артикуляции читала.

— Вот как? А я, между прочим, не читал. Все собираюсь... Послушайте, а может, вы мне расскажете? У меня времени нет читать, а тут скоро методику сдавать.

Он что, издевается?

— Я вполне серьезно, вы не думайте. Договорились, а?

— Да я с удовольствием! Только... только мне ж совестно. Я вам буду про артикуляцию вещать, а сама в ней практически-то...

— Ну что, руки опускать теперь? Заниматься надо. И не столько пальцами — ушами. Итак, артикуляция — это произношение. Боже мой, как все просто! Вот ты говоришь с Севой, поешь, болтаешь и хохочешь в общезжитии с товарками, плачешь иногда по дому, посапываешь во сне - кто же выучил тебя этому? Кто научил твои губы, язык, нёбо, связки где-то в теплой и темной глубине горла?..

Теперь взгляни на свои руки. Вот они, десять пухлых, розовых, чуть дрожащих пальцев... Пожалуйста, говори, пой, шипи, шепчи, ликуй, плачь, мурлыкай, страдай - ими! Всеми вместе десятью и каждым в отдельности. Вот этим, первым.

Толстый коротышка, как будет он вертеться на венском каблучке в третьей части сонаты Шуберта... Или этот худенький мизинец. Ему ли в удел пронзительная флейта, верхушка аккордов трехдольного марша в будущей твоей сонате Чайковского (не удивляйся, доживешь и до нее!). И зачем так некстати длинен и силен третий, когда любимый твой экспромт Шуберта сложен из идеальной ровности всех пальцев. Ах, как все не просто! Научите меня артикуляции, кто-нибудь, научите...

— Самое главное — это кончики пальцев. Подушечки. У вас как раз хорошие подушечки, мясистые. Теперь положите руку на клавиатуру. Нет, вот так: до-ре-ми-фа... Только тихо: два, нет, три, четыре пиано... Э-э, нет, не получается. У вас, по крайней мере, меццо-пиано. Еще раз, и медленно... Нет, плохо. Ну, представьте себе так, что ли: каждая ваша подушечка "набита" нервами, так вот обнажите один из них и тихо им прикоснитесь. Не пальцем, не рукой — одним-единственным нервом. Я нажимаю нервом толщиной со штопальную иглу.

— Да нет, гораздо тоньше, тише то есть...

Итак, уже не артикуляция, не палец, не подушечка — нерв! На редкость дешево: подумаешь помучить один-единственный! Даже если он не в одном, а в десяти пальцах. Даже если эти касания нервами по десять, сто, по десять тысяч раз. Даже если не только первый курс, а все пять консерваторских лет и еще всю жизнь. — Это лучше немного... Все проверяется на слух. Качество звука проверяют уши. Палец...

Э-э, какой палец, Сева, - нерв!

— ... нажимает клавишу, а уши разрешают или нет двигаться дальше.

— А как же быстрый темп? Я не смогу в нем.

— Кто вам про быстрый темп говорит? Пока что все медленно. Вы сейчас пальцами как бы "рассматриваете" музыкальную ткань в микроскоп. Все увеличено, укрупнено: темп, динамика. И контроль ушей беспощадный. Где, кстати, ваши уши? Занавесилась кудрями...

Ах, для полного счастья не хватает только артикуляции!

Когда играешь, играешь и все зря, когда мозоль на пятом пальце — брось все, подойди к окну, раскрой его... Учись произносить музыку консерваторского города, как выучила другую...

Тот поселок, почти деревня, где я родилась, был еще не музыка — два несвязанных тоскливых звука. Вой ветра с печной трубе и далекий гудок паровоза...

Районный городок, куда мы переехали, стал уже музыкой — простенькой четырехтактовой мелодийкой "Петушка".

Был и есть еще город, перед консерваторским. Там я музыкальное училище окончила, и там живут мои родители. После районного "Петушка" я испугалась новой музыки. Она была уже настоящая! Я боялась, краснела, в автобусе не знала, как платить, а в конце концов оказалось что эта музыка — всего лишь какая-нибудь соната Бортиянского, просто у страха глаза велики...

Ну вот, а нынче, сверху, уже консерваторский город покорно звучит подо мной. Уже не соната — целая симфония! И я, рыженький Бонапарт, предельно ускоряю ее коду и спускаюсь вниз... На улице шум, слякоть, очереди за виноградом, обрывки разговоров: "...возьму, говорю, отгул и в Ригу съезжу. Сапоги надо к зиме, кофту хорошую..."

Вечером в городе все равны. Даже Леонид Яковлевич, я видела, так себе — старичок в шляпе. Скучные, серые лица, одинаковые заботы. Вечером в городе мне хорошо. Все понятно, что делать. Занять очередь за болгарским виноградом и, подойдя к лотку, спросить вдруг три килограмма. Привезти куль с виноградом в общежитие и съесть всей комнатой за раз.

Отдыхай себе после занятий!

Но, стоя в очереди, садясь в пустой трамвай, глотая с косточками холодные виноградины, ложась спать, думаешь только об одном: "Ну почему, почему не выходит?! Поучила это место и медленно, и стаккато, и пунктирным ритмом, и так, и сяк... Ну, почему-у? Ах, черт, жалко, что уже двенадцать, а то, кажется, сыграла бы сейчас! Взяла бы и сыграла. Вот так... так!!!"

Четверг для меня — святой день. В четверг утром я мою голову, закручиваю волосы на бигуди, отпариваю юбку... И так весь год, весь первый курс.

В комнате все знают: в четыре тридцать я иду на урок к Леониду Яковлевичу — и ко мне лишний раз подойти боятся. Я бледная и сосредоточенная. Заранее знаю, кто

будет играть и что,— мой портфель, набитый нотами, закрывается с трудом. Сажу на уроке с нотами на коленях и, как первоклашка, вожу пальцем по строчкам. Сегодня играет Гарики. Он не выпадает из черно-белого периода класса: на нем черный свитер, он в черных очках.

— Вы что же, голубчик, Моцарта в черных очках собираетесь играть?

В классе светло от серебряной головы Леонида Яковлевича.

— Да... Ведь "Вечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!" — он слепит мне глаза, Леонид Яковлевич...

В классе легкий гул. Такой маленький подземный толчок в 1,7 балла. Ага! Завидуете Гарику, вообразили пятикурсники с прокуренными голосами, лохматые аспиранты (Севы, впрочем, нет), учительницы из областных училищ?!

— В таком случае, не будет ли вам жарко в этом свитере? Ведь Моцарт не только светит, но и наверняка греет...

Явный толчок около трех баллов. Сразу смех, шуршание нотами, тетрадями, блокнотами.

Гарики покраснел, но очень легко. Положил руки на рояль и начал вдруг слишком нервно.

Я сижу во втором ряду, и мне видны Гарикино длинное ухо и впалая щека. Гарики играет, сжав зубы, я это вижу по его напряженной щеке... Но все равно — играет хорошо. У него ясный звук, ровные сильные пальцы. Во второй части Гарики расслабился и даже стал кривляться немного.

Я посмотрела на Леонида Яковлевича — как он-то терпит такое в Моцарте — и испугалась, что он спит. Он сидел, откинувшись на спинку, закрутив ногу вокруг ножки стула и закрыв глаза...

Я стала слушать внимательней и сама вдруг как бы расплавилась, опьянела...

А в третьей части Гарики прямо-таки забавлялся. Пальцы его потешались, хохотали...

Молодец, Гарики! Я ему завидую. У меня нет таких пальцев и такого чувства ритма. Это у него от джаза.

— Спасибо, вы доставили нам удовольствие. Не правда ли? — Леонид Яковлевич раскручивает ногу и поворачивается к классу.

— Да, чудесный Моцарт, чудесный мальчик, кто он, с какого курса? — шепчет моя соседка, худенькая учительница с закрашенной сединой.

Я ее уже второй раз вижу, она, кажется, из Архангельска или Вологды. Я краснею, как будто хвалят меня, и, пригнувшись, объясняю шепотом, что это Гарики, мы с ним однокурсники.

Леонид Яковлевич садится ко второму роялю и кладет на клавиши руки.

Учительница из Архангельска вытягивает шейку, чтобы лучше рассмотреть. Потом приедет в Архангельск и будет рассказывать: "Ой, руки-то у него маленькие, веснушчатые, пальцы плоские!"

— Ну, а теперь на "бис". То же самое, пожалуйста... — Но Леонид Яковлевич прерывает Гарику на первой же фразе. — Вы начали этюд Черни, и славно начали. Но я хочу слышать Моцарта. Где же ваш вечный свет? Вы непоследовательны. У вас бодренькое, но вполне заурядное утро без солнца. Нет солнца! А этот пассаж должен засветиться...

Леонид Яковлевич сыграл одной рукой, и мы с архангельской учительницей переглянулись. Что засветилось, где, как?.. Но Леонид Яковлевич уже закончил. Архангельская учительница даже рот приоткрыла от досады.

Гарик пробует — но снова бодренькое утро без солнца.

— Попробуйте медленней,— говорит Леонид Яковлевич и играет еще раз, медленно и тонко.

Что-то глянуло сквозь облака и у Гарика, и я обрадовалась. Умница Гарик! На лету схватывает.

— Нет! Это не солнце—электрическая лампочка в двадцать пять ватт, с такой зрение испортишь.

Гарик пробует еще раз, еще, еще, начинает злиться — я вижу по кривящемуся рту; и вдруг — удача!

— Дальше,— не похвалив, говорит Леонид Яковлевич и тут же останавливает Гарика: — Как вы представляете себе побочную партию?

— Ну... Это... Портрет возлюбленной,— говорит Гарик, и мне делается стыдно за него: так хорошо играть и так пошло ухмыляться!

— Возможно. Но тогда подробней. Кто она, какая и чья возлюбленная? У вас — гусара, бретера, кого хотите, а должна быть — Возлюбленная Солнца. По-вашему же. Как вы это сделаете?

Гарик пожимает плечами. Леонид Яковлевич бережно кладет на рояль правую руку, и я слышу, нет, вижу — чувствую! — нежный женский профиль.

Класс влюбленно затих... А я вдруг вспомнила, что забыла шепнуть Гарика "ни пуха" в начале урока! Я виновата, я... Гарик теперь не сможет так повторить. Он играет другое, Возлюбленную не Солнца и даже не гусара—что-то бледное совсем и немоющее.

— М-м. Пожалуй,— устало говорит Леонид Яковлевич и закручивает ногу вокруг ножки стула.

Гарик сыграл всю экспозицию, неожиданно вяло сыграл, и Леонид Яковлевич с чуть приметным раздражением сказал:

— Учитесь перестраиваться на ходу.

Перешли ко второй части. Леонид Яковлевич не прерывал Гарика довольно долго. Он даже забыл закрутить ногу и отставил ее сильно в сторону. Так в восемнадцатом веке на клавесиных играли: ногу отставят, глаза умоляющие - на даму сердца, а пальцы плетут тонкое, трепетное кружево.

- Вы манерничаете, - заметил Леонид Яковлевич, но, пожалуй, вам я бы отдал предпочтение перед трактовкой Моцарта в стиле а la старая дева.

Класс долгожданно рассмеялся. Не смеялась только архангельская учительница. Леонид Яковлевич закрыл глаза, пережидая смех.

— Знаете ли, манерность здесь оправданна. Разумеется, в легкой дозе. Ведь менуэт этот танцуют явно не пейзажи—юноши и девы в париках... В связи с этим мне захотелось отвлечься и поговорить о роли образного начала в Моцарте...

Архангельская учительница выхватила из хозяйственной сумки общую тетрадь и лихорадочно стала записывать, Я скосила глаза: "Актерство допустимо в Моцарте. Моцарт – дионисиец, жизнелюбец, ветреник. Оперы — высшее достижение дионисийца. Сонаты — это мини-оперы, есть мини-увертюра... Минимум действующих лиц. Он и она в диалогах, он — мужественный, властный; она — покорна, женственна..."

У меня глаза устали подсматривать, да и слушать куда интересней. Невозможно записать эту полувопросительную интонацию, этот изящный жест.

— Моцартовская речь трепетна и удивительна...— Тут Леонид Яковлевич замолчал, потому что отворилась дверь, и вошел Сева с толстым красным лицом, в черном, плохо отглаженном костюме.

Леонид Яковлевич молча кивнул и сел к роялю. Он перестал говорить, он снова играл Моцарта. Не только части фортепьянных сонат, но и темы из камерных, куски симфоний и опер. Он даже пел тенорком за Фигаро: "Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный..."—дирижируя при этом воображаемым оркестром.

Я уже не понимала, что это — урок или творческий вечер маэстро? Гарик давно отвернулся от рояля, снял очки и слушает, восхищается, хохочет не меньше, чем архангельская учительница.

Леонид Яковлевич дарил Моцарта так легко, щедро и так много, что я вдруг устала. Я обернулась и в углу, рядом с аспиранткой Ритой Александровской, увидела Севу. Рита Александровская всегда записывала на уроках Леонида Яковлевича. Тема ее диссертации — "Роль образного начала на занятиях консерваторского курса в классе фортепьяно".

Сева улыбнулся мне, поджав толстые губы, и я почувствовала, что у него не кружится голова от пьянящей легкости остроумия Леонида Яковлевича. И пиджак Севы был выгоревший и мятый, мне сделалось бы стыдно за Севу, если бы не стало вдруг так жалко... Мне захотелось вдруг встать и уйти с этого блестящего творческого вечера. Отдохнуть в скудной выразительности Севиного урока...

6

"Ученики обязаны дважды в год выступить в закрытых академических концертах".

- Ох, Гарик, кошмар, что я натворила! Даже рассказывать не могу, стыдно. Выхожу я на сцену... Нет, лучше сначала.

Перед концертом вроде настроилась, правда, руки вспотели, и я их об стенку потеряла. Посидела на диване в артистической, как раз ты доигрывал своего Моцарта... Надо вставать, и я встаю. Поднялась с дивана, чувствую: все кончено! Ноги не идут, руки по локоть отнялись, я их совсем-совсем не чувствую, хоть иголкой коли... Ты выскакиваешь со сцены - и ничего, даже не красный. Руки-то у меня отнялись, а соображать я соображаю, говорю тебе противным голосом, тихим и сухим, потому что слюна вдруг пропала: "Гарик, ты умница, поздравляю". А сама почему-то не на тебя, а в зеркало... Слушай, и зачем там только зеркало? Смотрю и думаю: ба, кто же это такой? Губы белые, и глаз нету, одни синие круги. Я ведь всю ночь не спала. Но надо выходить... Кое-как, деревянными ногами поднимаюсь, нет, волокусь по лесенке. И вот тут-то самое страшное — споткнулась! Да так, что почти упала, верней, выпала на сцену. Руки уже тут, а ноги еще там, в артистической. И туфля с ноги свалилась. Грохот ужасный! В зале смех, а я назад, не в чулках же играть. Надеваю и проклиная примету, что на сцену только в старых туфлях. Они ж у меня разношенные, как тапки!..

Уже ничего не соображая, но чувствуя, что Бах во мне перетряхнулся, выхожу на сцену во второй раз. И думаешь, это все? Как бы не так! Иду теперь, как цапля, глаз от пола не отодрать. Подхожу к роялю — батюшки, а возле него стула нет! "Как же

так,— чуть не плачу,— Гарик ведь только что Моцарта играл, неужели он стул с собой унес?"

И зачем я только за туфлей возвращалась, ведь примета плохая... Уж лучше бы в чулках играла, но зато сидя..."

И вдруг откуда-то издалека, чей-то очень знакомый, только не вспомнить чей, голос: "Сева, что это с нею? Почему она стоит?"

Поднимаю, наконец, голову и - о ужас! - вижу, что топчусь всего-навсего у стены, а вся сцена далеко уходит вперед, в зал, и где-то там еще один рояль и целых два стула...

Не представляю, как я после этих приключений ни разу не "заблудилась" в Бахе!..

А голос был Леонида Яковлевича. Бедненький Сева, он так за меня испугался!

Спросил, не ударились ли...

Сыграла, сказал, удачно, особенно прелюдию. В фуге-то мастерства еще не хватает...

В ноябре, когда маленькая зима, когда мороз и пальцы в перчатках мерзнут, когда мама напишет, что вяжет двойные варежки, так захочется домой!..

Дом будет в январе, и самая пронзительная музыка - от постаревшего маминого лица... Мои родители обзвонят всех родственников: "Приехала, приехала, так что ждем, приходите. Послушаете, как она теперь играет..." Я сыграю сначала свою программу: Бах, Шуберт, а "по заказу" баркаролу Чайковского, седьмой вальс Шопена... Потом все будут пить чай с лимонным пирогом, испеченным мамой, и жалеть меня: похудела, побледнела...

В обратный поезд сажусь толстая и румяная. Свешиваюсь со второй полки и разглядываю невысоких скуластых парней, бывших крестьян, которые стали теперь городскими рабочими. Они ездили домой, в деревню, на какой-то праздник. Они возбуждены и грустны одновременно. Пьют самогонку, почему-то фиолетового цвета и закусывают вареным мясом. Самогонка сводит их лица судорогой: чуть отойдя, они яростно выдыхают злой дух и одобрительно трясут головами, вытирая выступившие слезы. А жены их веселые и курносые. "Я-то сама транспортница, в транспорте работаю",— сообщает одна с гордостью и лихо поворачивает языком громоздкие городские слова: "транспорт", "транспортница"...

Засну на своей второй полке и проснусь уже в консерваторском городе, среди разноцветно светящейся перфокарты его новых районов.

7

"Начальство консерватории ведет надзор за поведением и действиями учащихся, только пока они находятся в здании консерватории, вне коей наблюдение его за учащимися прекращается".

И первый, и второй, и третий курсы — это ежедневные пятичасовые сидения за роялем и почти ежевечерние трехчасовые стояния на балконе филармонии. А после концерта — через весь город в общежитие. Вот оно, неумолчное, копошащееся, дымящее!

Сигаретка в музыкальных пальчиках и черный кофе в полулитровых кружках — обязательные условия ночного бдения.

— Перестань, Гарик! Юдина — гениальная пианистка, и все-таки совершенно играет Баха только Гульд!

— Хочешь, сыграю, как твой Гульд?

— Ты сначала Швейцера о стиле почитай. Майя, где мой Швейцер? Майя Шихразеева, флейтистка и натуральная блондинка, "пропалывает" перед зеркалом брови. Она явно кого-то дожидается.

— Наверное, в двадцать шестой комнате.

Общежитие — это такой колхоз.

Общие стаканы, вилки, тарелки (прошлый их владелец — наш друг Общепит), бигуди, карандаши для век; общие два тома бетховенских сонат, учебники по русской музыке и диамату, и вот, пожалуйста, Швейцер.

— Бабуся, давай я тебе без Швейцера рококо изобразю!

Гарик садится за рояль и начинает тихо дребезжать сухонькими аккордиками аккомпанемента. Истинный клавесин!

"Девы, спешите счастье найти,
Юной фиалкой век вам не цвести..."

— нежнейшим фальцетиком пропел-проговорил.

— Ой, какая прелесть! Это что такое?

— Французский шлягер восемнадцатого века...

"Друга найдите вы во цвете лет, ветрен он — ветреными будьте в ответ..."

— Сдаюсь, сдаюсь! Гульд наверняка так не споеет...

Завидую Гарику! Он играет все что угодно... Мой бог—Рихтер, а Гариков — Оскар Питерсон. Джаз для Гарика — все, сама жизнь. Настоящий джаз, разумеется. О вокально-инструментальных ансамблях Гарик говорит, что они так себе, озерко по сравнению с морем джаза. "Кроме "Биттлз", конечно. Такая чистота интонаций, как у них, не у каждого оперного солиста... И все-таки джаз выше", — говорит Гарик. Да что говорить, кумирню выстроил и служит своим богам искренне и верно; тратит все деньги на записи и пластинки, по ночам не отрывается от транзистора. Впрочем, эти жертвы доступны всем. Но Гарик сам играет, сам импровизирует. Я не умею и никогда не выучусь, хотя знаю об импровизации все. Головой. А слишком умная голова в этом деле — балласт, ее отвинчивают и выкидывают за борт, чтоб освобожденно плыть в ритмических волнах...

Но зато, зато — ах, как подленько мстительны эти консерваторки, не умеющие импровизировать! — на берегу, в консерватории, я почти отличница, а Гарик — троечник!

— Бабуся, слушай сегодняшнюю хохму. Захожу я, беру билет — ни в зуб! Чего-то мычу, а он мне: "Ну, хорошо, а кого конкретно вы можете назвать из современных западных композиторов?" Я, недолго думая, пошел чесать: "Нетцер, Мюллер, Беккенбауэр..." Перечислил половину западногерманской сборной по футболу — он глаза опустил, не знает, что сказать. Мало ли на Западе авангардистов! Трояк поставил.

Гарик тихо, как бы в штиле, играет свое — и что ему теперь мои жалкие выкрики с берега...

Я люблю наблюдать, когда он так "плавает". Он морщит прыщеватый лоб, улыбается, шепчет что-то...

Его уже два раза приглашали в оркестр, и он говорил, что ушел бы, если б не родители. Они тоже музыканты: отец - кларнетист в оперном театре, мать — хоровик в музыкальной школе. Родители слышать не хотят о джазе, для них джазист - только лабух, они боятся этого слова, как удара из-за угла. Их Гаринька, их маленький, их единственная надежда — и вдруг в некоем притоне, именуемом джаз-оркестром? Да никогда! Но самое смешное, что Гаринов отец сам был лабухом, играл в ресторанах, клубах, кино. Для него это занятие было тяжелой повинностью, он долдонил на саксофоне в прокуренных фойе кинотеатров, а после "халтуры", умыв тщательно руки, принимал очищение Моцартом и Бахом. Гарика засадили с малых лет за овсяную кашу гамм, этюдов Черни и Лешгорна и нещадно травили бедные фокстротики, песенки из кинофильмов, которые мальчишка подбирал мгновенно и с удовольствием брэнчал в школе на вечерах. Отец был суров: Гаринька окончит школу, потом училище, потом поступит в консерваторию...

И вот, знал бы отец!..

Я слушаю Гарика и не доношу его родителям. Что доносить? О восторге и зависти к их сыну?..

А мой собственный джазовый опыт даже не лужица, а так, стыдно сказать... Четыре популярные песенки с довольно-таки чахлым аккомпанементом.

Зато я буду хороший педагог, концертмейстер или ансамблист. Буду учить детей, буду аккомпанировать визгливым певицам...

— Роб пришел, Роб! — вскакивает Майка.

Вон оно что! Дождалась-таки...

— Добрый вечер, консерваторки и консерваторцы...

Роб — это Гаринов друг, Гарик привел его к нам в конце первого курса и представил так: "Знакомьтесь — Диззи Гиллеспі районных дворцов культуры. Короче — Роб!" Да уж, короче не бывает: метр пятьдесят, наверное. "Нет, серьезно, — сказал Гарик, — Роб — гениальный трубач". И коротышка мотнул головой, ничуть не смущаясь, а подтверждая, что да, гениальный.

— Что нового в храме музыки? Кому нынче молились: Бетховену, Листу?.. — Как всегда, он слегка пьяный, но вежливый, с нами на "вы".

— Оскару Питерсону, Робик, — воркует Майка, наливая ему кофе, подставляя пепельницу.

— Это уже дело...

Гарик импровизирует...

Штиль кончился, легкий ветер надул его паруса, поддал темп и освежил наш слух бисерной сыпью пассажей...

- Узнаешь? - спрашивает меня Гарик.

- В общем-то, знакомое... - неуверенно говорю я, пытаюсь докопаться слухом до первоосновы, до темы.

— Это же "Мария". Помнишь?

— Дин Рид, что ли?

— Ну, конечно. Это же Бернстайн, "Вестсайдская история"...

Подергиваются в сложном ритме Гариново лицо, тело, а пальцы "одевают" тему в нечто нарядное, тонко блестящее...

— Бас бы сюда, — говорит Роб и начинает виртуозно булькать, изображая контрабас.

— А я на флейте! — Майка хватает футлярчик. Дунула раз, другой — и надо же! — попала в ансамбль, в тональность. Настоящее трио!

— Здорово, — говорю я, — такие все талантливые, куда уж нам...

— Ничего, бабуся, учи побольше философию — и ты научишься.

Такая шпилька.

У меня по философии пять, а он пересдавал два раза.

- Ладно-ладно, Гарик! Напишу я еще тебе шпоры, так и жди.

— Ох, бабуся, прости! Я твоих шпорах, как в панцире. На вот, специально для тебя

— классический рок-н-ролл. Роб, приглашай дам!

Но Роб приглашает не меня, а Майку. Они, конечно, очень друг другу подходят:

сизые Робиковы глаза как раз на уровне Майкиных губ. Но танцуют здорово!

А я сижу на своей кровати и курю. Я тоже хочу танцевать классический рок-н-ролл, но одна же не выйдешь...

— Слушайте, вы прекратите или нет? — В дверях чья-то голова, обвязанная полотенцем, из-под полотенца торчат бигуди. — Нам завтра сдавать политэкономия: читать невозможно, известка с потолка сыплется...

— Напоследок "Take five", — шепчет Гарику Майка, скорчив в дверь рожу.

А сама уже не танцует. Слушает нежно заплетающегося Роба:

— Майечка, вы восточная женщина, да?.. Царица Тамара?..

8

"Каждый учащийся в консерватории, избрав специальный предмет занятий, обязан сверх того изучать следующие предметы по роду своей специальности, а именно:

1. Фортепианист — теорию музыки, хоровое пение, камерную музыку, эстетику, нотное писание".

"Нотное писание" преподаю... я. На частном уроке.

На втором курсе, когда с консерваторией уже на "ты", появляется первый частный ученик.

"Хочешь "ЧП?"

"Что это?.." - трушу я. "Частная практика. Возьми ученицу, девять лет, девочка хорошая: отец - доцент в университете, книжки будет давать читать..."

Худенькая вертлявая девочка говорит мне на пороге:

- А я "Калинку" умею играть. Меня Ксюша из второго подъезда научила.

Играет ломаными пальчиками, выкрикивает с удовольствием: "В са-ду яг-года мал-линка..."

Я говорю: "Наташа, чтобы научиться играть на пианино, надо быть музыкально грамотным человеком". Наташины глаза тускнеют и я торопливо успокаиваю:

"Музыкальных букв всего семь... Нотка "до" пишется на первой добавочной линейке..."

Я не уверена, не знаю, как надо брать за руку и вводить в Сад... Говорю, говорю, чувствую, что слушает в соседней комнате Наташин папа, и путаюсь, краснею.

Наташа зевает с закрытым ртом.

Зачем согласилась? Жила же на первом курсе без этих двадцати рублей — и хорошо жила!

Как это трудно — музыке учить! Как учить, чему?! Тому, что знаю,— просто, скучно: "Вот, Наташенька, скрипичный ключ... А это пять линеек, нотный стан называется..."

Наташа ерзает и зевает в открытую.

Учить тому, что чувствую, — позволит ли папа Марк Григорьевич?..

Впрочем, на втором курсе начинается методика, на третьем — педпрактика. Как учить, чему учить — мне расскажут. Я терпеливая и прилежная. Но прихожу на частный и шепотом, чтобы не слышал папа Марк Григорьевич, говорю: "Наташа, это бемоль. Видишь, он важный, с брюшком. Он ноту у н и ж а е т ! На полтона..." Возвращаюсь в консерваторию и становлюсь как бы Наташей: "А я уже хорошо все умею играть!"

И вдруг:

— Как ты играешь! Что за манная каша! Это же серенада любовная! Ты любила когда-нибудь?

— Любила, любила,— говорю я, поеживаясь от трубного гласа над моим ухом. Это бас Гурий Хлынов, я буду аккомпанировать ему все четыре года. Если б только на специальности донимали! Со второго курса начинается класс аккомпанемента, с третьего — камерного ансамбля.

— Ну, и кисель развела! Это же Мусоргский, понимаешь?

Понимать понимаю: Мусоргский, вокальный цикл "Песни и пляски смерти", стихи Голенищева-Кутузова,— а играю целый месяц какое-то диетическое меню: "кисель", "манную кашу", "гоголь-моголь"... (В раздражении догадываюсь, что у могучего Гурия Хлынова барахлит желудок.)

— А теперь слишком зло! Тут ведь Смерть — другая...

Да, знаю, Смерть — главная героиня цикла — на маскараде жизни рядится то сердобольной нянькой, то рыцарем, изнемогающим от любви... Смерть взмывает снег до небес, командует парадом мертвецов... Стихи я выучила наизусть, а что толку! Надо ведь Мусоргского играть, не Голенищева-Кутузова...

— Девонька, а сама ты думала когда о смерти?

Станный вопрос... Как все думают: когда-нибудь умру.

— Играй по-хозяйски! Смерть все устроит, упокоит под снегом...

Снег, снег... Смерть... Снег и смерть?... Бело и сладко...

И я вдруг вспомнила...

Давным-давно, когда была зима, и холмы за окном покрыл снег, когда до весны и робкого Сада было еще далеко, музыку заменяли стихи Некрасова, с выражением прочитанные папой.

"Савраска увяз в половине сугроба..." — низким голосом читал папа, обожавший Некрасова, и я глотала детские свои слезы и не давилась: слезы тогда несоленые были...

Я слушала папу и смотрела в окно. Белый скучный снег... Под снегом мертвое лето: мертвые трава, цветы, мертвые бабочки и стрекозы... Под снегом мертвый Дарьин муж, и сама Дарья, я уже знаю, будет мертвой, и ее занесет снег... О, как холодно и страшно!.. По моим щекам катились слезы, но слезы были жизнь, а снег—смерть... Я сжалась в теплый комочек и сладко и виновато чувствовала, что живу, живу!.. "Вот зачем я здесь, вот зачем!" — думала я и не могла растопить снег слезами...

— Ну, наконец что-то получается. Только не торопись, дай мне взять дыхание...

Через детство, через снег — к Мусоргскому...

— "Ох, мужичок, старичок, убогой, пьян напился, поплелся дорогой..."

И это обо мне, о моих прадедах и прабабках... Они стоят по канавам и терпеливо провожают меня взглядом: вот какова ты, которая занялась из наших заскорузлых рук и ног, из наших тусклых глаз и спутанных волос, из наших скудных, бессвязных речей...

Натыкаясь на пни и проваливаясь в сугробы, бреду по их земле...

— "А метель-то, ведьма, поднялась, выиграла..."

Залепило снегом глаза, свело пальцы... Но наконец из-под них трудно, хрипло заговорил Мусоргский!

Он — мое отчизноведение.

Выучившись, выйду однажды на свое последнее "поле брани" — государственный экзамен по аккомпанементу...

И Гурий Хлынов в последний раз встанет для тебя к роялю, а ты, уже положив на клавиатуру руки с мелко дрожащими пальцами, с готовностью посмотришь на его красное, усталое лицо, ожидая только тебе понятного знака... Вот он как бы дернется к тебе - и ты рванешь с места, с уютного и уже вспотевшего под твоим пальцем "фа" контроктавы:

— "Грохочет битва, бле-ещут брони!..."

О, никогда не забуду бешеную скачку сердца в начале "Полководца"! Задохнулась, нечем дышать в грохоте пассаже и лязганье аккордов... Нет спасенья... Но...

— "...пала ночь на поле бра-а-ни..."

Сухим, сломанным ртом хватаю опасный воздух экзаменационного зала. Ах, как свободно, истово поет Гурий Хлынов! Вот-вот просит победное:

— Я-а-вилась Смерть!

В нотах у меня акцент, так называемое сфорцандо, но я, побежденная, беру аккорд тихими, остывающими пальцами. Смерть является в кристальном пианиссимо...

Гурий Хлынов, прощайте и не пойте больше ни с кем Мусоргского. Забудете меня — пусть, только помните, как пела и плясала с нами Смерть...

9

"Ученики обязаны участвовать безвозмездно в качестве исполнителей в концертах музыкального общества, на музыкальных вечерах консерватории и в других собраниях во всякое время, когда потребуется, по усмотрению директора".

- Гарик, миленький, дай чего-нибудь пожевать! Мы с Майкой, как волки... Ну и было! Приходят вчера: ты, мол, в комнате, быстренько все организуй... Ой, какое варенье! Напиши маме, пусть рецепт пришлет, а я своей... Мол, срочно надо выступить на тракторном заводе, на главном конвейере. В красном уголке пианино, сцена — все, что надо. А знаешь, что вышло! Слушай, у тебя просто ресторанный выбор... Роб, наверное, был? В следующий раз пойдешь со мной! Тебе же это пара пустяков, будешь играть все, что из зала попросят.

Ну вот, собрались мы, поехали на "тройке" до конца. Ты был когда-нибудь? Такая громадина! Народу у проходной тьма, кому мы там со своей музыкой нужны!.. Ага, чай согрей... Ну вот, подходит такой мальчик беленький и говорит: "Вы из консерватории? Мы вас ждем". Повел... Не завод — целый город! Снаружи-то не

видно, а главный конвейер — завод на заводе, несколько цехов. Красный уголок на втором этаже. Пришли, разделись. Народу мало, и все пожилые, а молодежь, парни на лестнице, курят и не заходят.

Да, самое главное—мне ведь концерт вести. Пока ехали, вроде придумала, а вышла на сцену — затрясло! На экзамене такого не было. Прямо передо мной рабочий сидит, лет так пятьдесят, смотрит внимательно. А что я ему скажу? Мол, сляпали концертник на скорую руку, вы уж нас извините...

Парни на лестнице кто ржет, кто хлопает.

— Здравствуйте,— говорю наконец.— Мы пришли к вам из консерватории. Мы у вас впервые и, если честно, испугались. Не ожидали увидеть такой громадный завод, целый город со своими улицами и проспектами и со своей музыкой. Ваша музыка громче, но и наша не чирикание. Мы очень хотим, чтобы вы нас услышали. Ведь у нас с вами много общего. Мы тоже рабочие. И на наших руках мозоли. Не верите? Вот посмотрите...

Что тут началось! Парни с лестницы повалили в зал, а рабочий пожилой надел очки.

— И вообще, говорю, - консерватория — это тоже как бы завод со своими цехами и конвейерами. Только гораздо меньший, чем ваш. Вы делаете тракторы, мы - музыку...

Сказала - и страха вроде нет. Вышел баянист Коля. Слушали хорошо, а "Перепелочку" аж на бис. И вообще, знаешь, я теперь на народников по-другому смотрю. Вот кто действительно артисты! В любое время — только попроси — баян в руки и на сцену.

Потом мы с Верой. Певица Вера Ким, хорошенькая такая корейночка со второго курса, перевелась из Новосибирска. Я сажусь за пианино, "Красный Октябрь", все будто в порядке, Вера в длинном платье, ручки сложила, я начинаю вступление, и вдруг — кря-кря. Кошмарная педаль! Останавливаюсь, пробую педаль так и сяк — крякает, собака! Ну, не уходить же! Играю без педали, это Рахманинова-то, "Я жду тебя"! Хорошо, что Вера скоро вступает — все внимание на нее, когда она наверх пошла да на фортиссимо — кряканья не слышно. В общем, спели. Вера молодец! Так выдала "Полюбила я на печаль свою", что парни "браво" кричали.

Майка, конечно, убила всех. Представляешь, Гарик, выходит этакая девушка с волосами цвета льна, да еще с восточным лицом, да еще с флейтой — и с баховской "Шуткой". Майке я вообще без педали аккомпанировала. А когда дело до моего Шопена дошло... Играть — не играть, думаю... А-а, плюнула, сыграю! Попросила не обращать внимания на педаль.

Сыграла.

А после концерта... Ну, Маечка, ну, Расскажи!.. В общем, пришел тот мальчик беленький, культмассовый сектор, оказывается; сказал, что все очень хорошо, молодцы, спасибо, всех сфотографировал. А нашу Маечку отдельно! И рабочий пожилой пришел, он хромает немного. Руку мне пожал и говорит: "Ну-ка, ну-ка, где ж ваши мозоли?" Я ему мизинец показала, и он ничего, не посмеялся. "Вы не обижайтесь,— говорит,— за такой инструмент попорченный. Мы теперь его под замок, чтоб эти охламоны пальцем не тронули. Сам прослежу".

И пригласил осмотреть главный конвейер. Пошли, друг за дружку держимся, боимся. Культмассовый сектор объясняет; тоже Игорь, между прочим, и я его раз Гариком назвала. На конвейере, на сборке, парни такие серьезные, даже на Майку не

смотрели, и у меня вся ревность прошла. А вообще будешь серьезным — кабины так и плывут, попробуй не успеешь! Один стекла вставляет, другой—руль, третий—сиденье. Да быстро так! Мы рты пооткрывали. А в конце конвейера девушка Галя крючком кабины цепляет, и те вниз, на первый этаж. Там трактор целиком собирают. Видели, как из ворот тракторы выходят, ярко-желтые, нарядные... Ну, Маечка, а теперь похвастай, как тракторы на стенде испытывают! Тебе же Игорь персонально рассказал, а?..

10

"Преподаватель должен прививать ученикам смирение и неутомимость".

Все, не могу больше! Каждый вечер одно и то же! Я уже ничего не соображаю, мой горячий мозг вот-вот закипит и выльется наружу, обожжет руки... А я буду сидеть, стиснув зубы, зло и пусто чувствовать новую боль и даже не подую на волдыри...

Боже мой, совсем с ума сошла!.. Брось играть, закрой крышку...

Вспомни вчерашний урок. Леонид Яковлевич сказал:

"Детка, в вашей прелестной головке куча планов, но где их выполнение? Вы фортепьянный Манилов. Вы можете придумывать все, что угодно, но коли ваши руки не слушаются, грандиозные замыслы летят к чертям. У вас слишком много в голове и мало в пальцах. Оттого вы и суеитесь за роялем, а служенье муз, как вам известно, суеты не терпит. Вы не гармоничны, детка!.."

А Сева сегодня совсем другое:

"Вам обобщения не хватает. В конце концов, музыка — это обобщение. Вы зажаты изнутри, вам освободиться надо. Попробуйте расслабиться... Смотрите хотя бы на стену... Вон на ту щербинку возле портрета Скрябина, видите? Пусть она временно станет для вас смыслом этой музыки".

Сижу вечером в тридцать втором классе, с ненавистью смотрю на свои корявые, слегка пухлые руки с дрожащими пальцами и розовато-синими, коротко постриженными ногтями. Сижу молча, а снизу, сверху, справа, слева меня донимает музыка. Умоляющие баховские интонации. Язычески одухотворенные гармонии Прокофьева... Благородный, изящный Равель...

Подойду к стене, охлаждаю лоб...

Сяду и буду смотреть на портрет Скрябина... Мы с ним вдвоем в темном тридцать втором классе. У Скрябина как бы японские, узкие глаза и брови, маленький, чуть раздутый нос, аккуратный подбородок... А однажды на этом подбородке выскочит прыщик — и Скрябин умрет. Космический экстаз — и смерть от прыщика...

Тело отомстило духу...

А вон щербинка на стене... Верно Сева сказал: обобщения не хватает. Играла сегодня Рахманинова, как цуцик... Надо совершенно расслабиться, опустить плечи...

Снова кладу на рояль отдохнувшие руки, и снова весенний поток рахманиновского концерта затопляет класс...

Буду играть долго-долго... Покуда не распахнется дверь и не оборвется от ее стука сердце.

Покуда уборщица тетя Феня не закричит весело с порога:

— Да что ж это ты меня подводишь, а?! Сказала на полчаса, а сама? Я, небось, из-за тебя тут заночую, вон окол пианины твоей лягу. Иди-иди, одно твое пальто и висит!

"Профессор обязан обращаться вежливо со своими учениками".

В один прекрасный день, в один прекрасный год!..

Новый год — мой любимый праздник и мой день рождения. Встречать Новый год Леонид Яковлевич приглашает к себе всех своих учеников: студентов, аспирантов, лауреатов... Правда, на первом курсе я у Леонида Яковлевича не была: ездила домой. Каждый Новый год Леонид Яковлевич ставит домашние спектакли. Сценарии пишет сам. На этот раз даже в стихах. Трагикомедия в пяти действиях. "Любовный напиток по-консерваторски". Я играю саму себя, вернее, самого себя. "Рыжий юноша" — такая у меня роль. Что поделаешь, на фортепьянах играют и учатся все больше девицы, парней мало. Да и те... Гарик, к примеру, не идет с нами встречать Новый год: Роб попросил поиграть в своем диксиленде вместо заболевшего пианиста. А Леониду Яковлевичу сказал, что едет срочно домой.

Бегу, подпрыгивая, и твержу вслух, пугая прохожих. Вхожу в образ: "Я псих! Разгладилось моих мозгов плиссе, мне имя просто звук, и на него я плюну. Теперь я твой Ромео, пылкий, дерзкий, юный... Я ласковый твой король Елисей"...

И, между прочим, тащу за собой тяжеленную сумку с "реквизитом". Две ночи не спали, все готовили. Никто, видите ли, не смог пойти к Леониду Яковлевичу раньше, чтоб помочь готовить его жене Анне Вениаминовне. Мне и юношу играть, мне и сумку тащить, мне и помогать! Самая рыжая, в общем... Лифт, конечно, под Новый год не работает, ну да квартира Леонида Яковлевича на третьем этаже. Вот и пухлая, обитая кожей дверь. Звоню... Еще раз звоню. Кто-то неумело возится за дверью, путает замки, цепочки. Наконец что-то верно и окончательно щелкает, я открываю рот, чтобы произнести: "Добрый вечер, Анна Вениаминовна, с наступающим..." — и тут же закрываю его, потому что на меня смотрят Севины неуверенные глаза. Почему вдруг Сева, он ведь не играет никакой роли... и почему он без очков?.. — Здравствуйте, Сева, — помогаю ему узнать себя, — и вы раньше приехали? С Новым годом!

— Д-да, здравствуйте, с Новым годом... Я тут поиграл немного... А Леонид Яковлевич с Анной Вениаминовной скоро придут...

И все это — через порог, и Севе не догадаться, что нужно меня впустить и взять из рук сумку, он, верно, думает, что я новогодний почтальон.

— Ну, тогда пойдемте, чего ж мы стоим. Новый год ведь, а мы с вами через порог.

— Да-да, конечно, я совсем забыл...

Здесь, оказывается, никого больше нет. Только Сева и я. И так вдруг странно видеть его не на уроке, не в консерватории — а дома, пусть хоть у Леонида Яковлевича... Он в моей любимой с первого курса коричневой шерстяной рубашке... Он такой вдруг... тихий, что мне тоже как-то не по себе.

Но, в общем, все хорошо! Специальность я сдала позавчера, получила четыре с плюсом, по концертмейстерскому пятерка, по эстетике тоже, осталась история русской музыки. А после, совсем скоро, каникулы: мамин лимонный пирог, вечер встречи в музыкальном училище. Интересно, будет ли Шурик Балабкин? Говорят, он уже отслужил в армии, снова поступать собирается...

— Леонид Яковлевич сказал, что нужно елку установить... Я вот пробую.

— Ага, хорошо, только надо отодвинуть немножко. Нам ведь места много надо для спектакля.

Заглядываю мельком на кухню — вот это да! Леонид Яковлевич, как видно, решил устроить форменный банкет. Шампанское, коньяк, всякие яркие банки... А это что? "Мартини"... Никогда не пробовала. Это, наверное, привез Олег Богуславский, недавний ученик Леонида, теперь — надо же — трижды лауреат! Ну ладно, хватит рассматривать, давай-ка лучше свою роль, ведь Олег Богуславский тоже будет.

"Ах, дядя Аполлон, меня вы пощадите! Простите дурачка — немножко он влюблен..."

Каково-то выйдет: пухлая Рита Александровская — Эвридика, а я...

— Я оттащил, посмотрите. Чтоб крепче — привязал к серванту.

— О-о, Сева, вы сообразительный какой! Ну-ка, крепко? Вполне.

Это не сервант, это горка называется, я знаю, у моей тети примерно такая, только победнее внутри. А здесь посуды, наверное, на целый полк. Да все хрусталь, фарфор, все дымчато-зеленое, нежное, матовое, несколько раз отраженное зеркальными стенками...

- Надо только чем-нибудь белым закрыть табуретку.

— Сейчас поищу.

Не знаю почему, но мне вдруг нравится быть с Севой вот так, не на уроке... Мне даже расхотелось играть в спектакле... Впрочем, нет! Будет Олег Богуславский, надо показать, на что способны нынешние консерваторцы!

Иду в кабинет. Сколько книг! На самом видном месте Томас Манн. Первый "Steinway", на котором я играла. Пришла на консультацию, руки вспотели... А рояль — дунь — заиграет. На нем же только что занимался Сева, вот его очки на пюпитре...

Так, что это?.. Афиша недавнего концерта в Малом зале. Леонид Яковлевич играл последние сонаты Бетховена, народу было пропасть... На ариозо из тридцать первой сонаты у меня слезы потекли, а Сева, кажется, увидел...

Бедненький, испугался, верно, моего звонка, выскочил без очков и ничего не видит... Оправа старая, совсем не модная... Ничего почти в его очках не вижу, хотя у самой уже далеко не единица...

Тр-рах! Бемц!

Что это? Кто-то что-то... Кто-то упал...

Я рванулась из кабинета и — о боже! — схватилась за голову.

Я ничего не видела, услышала только звон-н-н...

Долгий, упорный, нескончаемо-нежный... Звенело все вокруг меня и во мне самой...

Когда же звон кончился, когда он прошел все регистры отзывчиво-доброего "Steinway", я увидела валяющуюся неукрашенную елку и опрокинутую горку, сразу ставшую старой и некрасивой... И гору битой посуды,,.

Все было кончено. Еще не начался Новый год и мой день рождения, но все уже кончено... Я жить больше не хочу...

Я вяло разглядываю Севу. Он без очков, сидит на корточках посреди дымчато-зеленой хрустально-фарфоровой лавы и что-то там выбирает.

— Я хотел еще покрепче, и что-то такое зацепилось, — тоненько сказал Сева и посмотрел на меня снизу, как бездомная собака.

— Вот ваши очки.— Я села рядом с ним на корточки.— Ничего... посуда к счастью, говорят... Только осторожней, руки порежете...

— Я уже порезал, вот...

И тут раздался веселый звонок, я пошла на деревянных ногах открывать, и вошел веселый, с красным носом и красными щеками, с запотевшими стеклами очков Дед-Мороз. Я проглотила слюну, которой у меня не было, и сказала серенько и торопливо:

— Леонид Яковлевич, Анна Вениаминовна, это я... Только вы не волнуйтесь, пожалуйста. Я вашу посуду разбила. Всю...

Как-то странно ахнув, из-за Деда-Мороза вышла Снегурочка в норковой шляпе и с трюфельным тортом в руках. Я вжала голову в плечи, и мне захотелось туда, в эту коробку, внутрь торта. Запрятаться там и умереть в коричневых сладких недрах...

Дед-Мороз вытащил из кармана клетчатый платок, протер очки и, бледнея и превращаясь в Леонида Яковлевича, повторил мое:

- Осторожно, Сева, руки берегите... Посуда, говорят, к счастью...

- Сева, но почему, почему! Он должен был закричать, выгнать, нет, выпихнуть нас вон! А он еще тосты произносил!..

Какое счастье вырваться на улицу после собственной смерти!

Не сговариваясь, мы выходим с Севой вместе.

Опустив головы, мы сидели в разных концах стола, пили из разных чашек, в глазах у нас был разный туман (я все-таки острее вижу!), и были связаны тоненькой ниточкой. Той самой, которой Сева привязал елку к горке...

— Сам не понимаю! Но зачем вы-то сказали, что это вы разбили? Он ведь все равно вам не поверил.

— Не знаю...

Мы идем в Новом году, и во мне продолжается звон...

— Я, как услышала, думала, лифт оборвался.

— А я видел, как она валилась, прямо на глазах... Я подскочил... и еще хуже...

— Я думала — потолок...

— А знаете, что Богуславский сказал? Рассматривал-рассматривал, потом через весь стол: "Леонид Яковлевич, почему мы пьем из чайных кружек?" А Леонид: "Тс-с... Режиссерская находка. Спектакль уже начался, Алик".

Я останавливаюсь, пораженная.

— Сева, как вы точно скопировали! Почему же отказались играть в спектакле?

Он тоже останавливается и робко на меня смотрит.

— Так ведь больше мужских ролей нет. Вы... ты... все забрала.

Я почему-то краснею и говорю быстренько:

— Еще что-нибудь такое расскажите. Вы ведь с Богуславским разговаривали. Я ничего не слышала. Как посмотрю на Анну Вениаминовну: улыбается, а у самой губы дрожат... И спектакль комом.

— Знаете что! Давайте говорить на "ты"!

Ты!.. Мы идем по новому снегу, и мы вдруг - новые...

- Ну, пожалуйста, перескажу Богуславского...

"Во Франции я был две недели. Париж в первую очередь, затем Руан, Марсель, Ницца... Нет, куртка австрийская. Пошлость — таскать из Франции шмотки.

Францию надо видеть, Париж особенно! Я раньше прямо-таки уверен был, что Парижем меня не удивишь. Подумаешь, Эйфелева башня, Лувр — все, в общем, известно. А бродил буквально потрясенный. Да нет, ради бога, при чем здесь кабаки! Особый мир, воздух, совершенно неожиданная тональность Парижа. Это не расскажешь... А публика сытая чересчур. Принимает отлично, но при этом какая-то обязательность, заказное радушие. Ей бы не переживать — поесть вкусно, поспать мягко. В этом смысле публика ФРГ, Австрии, Англии куда выше. Особенно в Австрии: в Вене, Зальцбурге... Но Париж — это Париж! Да, кстати, в Ницце не удержался, попробовал, что такое рулетка. Просадил двадцать долларов!" Я хохочу на всю улицу, на весь город — на весь Новый год!

Как, оказывается, Сева умеет смешно рассказывать...

— Здорово! Вылитый Богуславский. Но, Сева, почему вы... ты... так зло...

Сева сразу замолчал и сделался немножко угрюмым.

— Ты хочешь сказать, что я ему завидую? Не знаю... Начинали мы почти вместе. Он отличный музыкант, и все у него по заслугам. А может, завидую... Впрочем, у меня есть последний шанс.

— Ты о конкурсе?

— Да. Кстати... Я хочу поиграть тебе. Ты можешь меня послушать?

Я — его?! Воистину — Новый год.

— С удовольствием! А помнишь, когда осколки выносили, дворник сказал: "Ого! Вот это я понимаю — семейный разговор был. А что моя — хлопнет одно блюдечко..."

12

"Адьюнкт, небрежно относящийся к урокам с учениками, подвергается выговору со стороны администрации".

Сижу в холодном и полутемном (перегорели сразу две лампочки) тридцать втором классе. Сева опоздал минут на двадцать. Ввалился в класс и, тяжело дыша, сказал что-то вроде:

— Прости, такси долго не было.

— Надо ездить на трамвае, Сева,— сказала я вдруг очень взросло,— это дешевле и надежней.

Посмертная соната Шуберта...

Сева снял очки, я вижу его профиль.

Ох, как трудно "очистить" для Шуберта суетно заляпанный слух!

Во мне все еще дренькает посуда, скрипит снег под ногами... почему-то колотится сердце...

Не заметила в темноте, как он поднял и положил на клавиши руку...

Господи! Столько раз слышала Севу на уроках, на концертах в Малом зале и всегда мелко восхищалась внешним — его пианизмом, тем, чего у самой нет и не будет.

А сейчас...

Ничего не вижу, прозревшая...

...Зеленый, зеленый Сад нежно и настойчиво забрал меня в свою сень, успокоил шелестом. Листья, цветы, прохладные яблоки касаются моего лица... Глубоко дышу воздухом добра, тишины и одиночества...

О, играй же, играй!.. Ты не видишь, как горят мои щеки, не слышишь, как останавливается сердце...

Такое и есть музыка?! Она тайна, и я не разгадываю... Невозможность счастья — и я согласна...

И вот ходишь по улицам, по консерватории, равнодушная. От знакомых бежишь, отворачиваешься.

— Что это с ней? Ходит, как сомнамбула. Лекции подряд пропускает, перестала заниматься, классы не записывает.

— Ты разве не слышала? Говорят, у нее роман.

— Рома-ан?! Ну, наконец-то. И с кем же?

— Да знаешь, аспирант у Лени, лохматый такой, играл в позапрошлом году на Маргариту Лонг...

— Ну еще бы, знаю! Господи, нашла, кому мозги крутить! Он ведь бирюк, двух слов связать не может...

И вот наконец наяву то, что я видела во сне.

Я сижу у него в комнате, неожиданно чистой и уютной. Вот его пианино, старый "Shöder", телевизор тоже старый, "Рекорд". Возле телевизора на стене лист картона. Тонкий профиль поднятого вверх лица, полузакрытые глаза, густой шлем волос.

— Кто это, Сева?

— А это я,— чуть хохотнув, говорит Сева,— тогда я без очков был, не такой толстый. Это в десятилетке еще, одна наша девица прилично рисовала.

У меня сжалось сердце. Пусть бы молчал. Зачем мне знать о какой-то девице...

— Давай поужинаем, а?

Сева все делает сам, приносит и уносит тарелки. Как он может дотрагиваться до посуды после новогоднего ужаса! А я теперь от Леонида Яковлевича за версту бегаю, особенно после того, как он отверг купленный классом вскладчину немецкий сервиз. Пришлось тащить его назад в комиссионку.

Как все странно... Сегодня утром еще ничего быть не могло. С девяти скучная лекция по эстетике, даже не знаю о чем: писала письма. Потом полифония, я ее прогуляла: вместо нее готовилась спешно к аккомпанементу (шумановский цикл "Любовь и жизнь женщины"!). Потом занималась часа три по специальности — а урока-то не было! Мне сказали в учебной части, что Сева заболел...

И вот я у него. Пришла сама... Никакого гриппа не было и в помине. Он недавно откуда-то пришел: его старое коричневое пальто не просохло от мокрого снега. Он просто не хотел идти в консерваторию, и мне вдруг становится больно...

Но он рад мне. Я почувствовала это в его улыбке, в неуверенных глазах за толстыми стеклами очков...

Мы пьем чай с Гариковым вареньем, но Сева не знает и хвалит мою маму. Мы сидим рядом, так близко, что я могу дотронуться до него.

— Я уверена. Неужели кто-то может не понять твоего Шуберта! Это же как... истина в последней инстанции...

Он пусто смотрит на меня, хотя и улыбается, слегка поджав губы. Мы говорим о конкурсе, только о конкурсе и только о нем, Севе...

А на самом деле я тихонечко смотрю на его небольшие руки, лежащие на коленях. Они не молчат, они легко и нервно живут, в них еще тепла оставленная недавно музыка. Они вздыхают, тоскуют по ней, хотят назад...

...Рука, живая и нервная, я слышу тебя. Моя рука совсем рядом с тобой... Научи мою, оживи...

Сева, не повертываясь ко мне, даже — о ужас! — слегка отвернувшись, поднял с колена свою руку и медленно и тяжело положил ее на мою, вмиг вспотевшую от страха...

А через два дня он все перезабыл, он даже стал со мной на "вы"!..

Я собиралась на урок, как на собственный день рождения. Я сняла наконец вечные еще с училища свитер и брюки, надела самое нарядное, зеленое, ажурной вязки платье. Да что платье! Я выучила наизусть Третью сонату Прокофьева, зудила в тридцать втором классе день и ночь...

И вот урок. Перед этим я долго торчу в коридоре, принимаю похвалы маминой вязке, даже набрасываю кому-то в тетрадку по гармонии образец вязки. Стою перед дверью и не могу войти. "Меж всеми избрал мой милый и сделал счастливой меня!.."

Наконец вхожу — и что же! Вдруг равнодушный блеск очков... обычные ежеурочные слова... и самое ужасное — прошлогодние срывы "ты" на "вы".

— Здравствуйте... Что сегодня? Прокофьев... Так, давайте. Наизусть выучила?

И это — все?! "Меж всеми избрал мой милый..." И это после посуды, после чая, после рук и поцелуя... Он ведь пошел провожать меня тогда, и мы не смогли сразу разойтись в подъезде, его лицо столкнулось с моим, его холодные очки — с моим лбом... его странно шершавые губы с моей побледневшей щекой...

— Пожалуйста, начинайте.

..." и сделал счастливой меня..."

— Ну, в чем дело? Играйте же. Наизусть забыла?

— Да... забыла, - говорю я, но на самом деле не я, что-то другое из меня, жалкое, несчастное...

Сева тотчас с противенькой любезностью ставит на пюпитр ноты. С трудом проглотив ком слез, положив вялые руки на ехидно оскалившиеся клавиши, совсем не упруго начинаю вступительную дробь: та-та-та...

Вот так избрал меж всеми и сделал счастливой тебя! А раз так, раз забыл — пусть все летит в тар-тарары! Тра-та-та, та-та-та!.. Вот так, умница! Хлещи его прокофьевскими триолями! По лицу, по лбу, по щекам... Швырни последний колющий аккорд ему в глаза, пусть вовсе ослепнет, незрячий!

— Это лучше немного стало...

Отвернись и не слушай его противный тихий голос.

— ...и все-таки воли не хватает. Размагничиваешь ритм. Представь четкий триольный строй, поистине солдатский! Ни один солдат не должен выпасть из строя! Еще раз попробуйте начало, вот так...

Видишь?! Уже не ты его — он прогоняет тебя сквозь строй и лупит без жалости твою спину.

— Ну-ка... Нет, подожди. Вязко играешь. Собери предельно руки и попробуй чуть живее... Вот так, да...

Господи, да за что такая мука! Я уже не о нем, уж думать забыла в этом языческом топоте про руки да поцелуй... Валяюсь в пыли, поднятой крепкими упругими триолями.

— Ну вот, хотя бы так. Заниматься больше надо, милая моя...

Что?! Милая... Никакая я не милая... Измучена Прокофьевым, в мокром платье, на голове вместо завитого хвоста—желтый пучок прошлогодней травы... Я красная и некрасивая, у меня глубоко запавшие глаза, а родинка на шее — вовсе не родинка, а бородавка. А он не видит, верно, раз говорит тихо, улыбаясь поджатыми губами: — Ты придешь сегодня? Приходи, а? Будем телевизор смотреть, а потом погуляем немного...

13

"Консерватории... имеющие целью образовать оркестровых исполнителей, виртуозов на инструментах, концертных певцов, драматических и оперных артистов, капельмейстеров, композиторов и учителей музыки..."

Общежитие — о чудеса! — еще открыто. Вхожу в вестибюль, прокрадываюсь мимо задремавшей вахтерши, да не тут-то было! У вахтерши, верно, абсолютный слух: она вздрагивает и, открыв запухшие глаза, зорко и строго оглядывает меня.

— Добрый вечер,— говорю я, скромно и настойчиво высвобождаясь из ее глаз, из этих отечески-монастырских пут. Я, между прочим, без пяти минут старшекурсница, а она здесь всего второй месяц, я даже не знаю, как ее зовут.

— Как же, вечер,— скрипит вахтерша, рыхло наваливаясь на стол,— уж утро на дворе, почитай!

Плевать, пусть доносит. Назло вахтерше стучу каблуками и только перед своей дверью перехожу на цыпочки. Но Майечка Шихразеева спит сном праведницы... А мне никак не заснуть.

Что же со мной происходит!.. То восторженное удивление: вон он какой... То нетерпеливое, до страсти, любопытство: да кто же он?! Чем он играет: пальцами? сердцем? душой?.. Чувствует ли, когда играет, что со мной творится...

Ох, как хочется услышать собственный голос: "Ведь это любовь!.."

...Странно все до боли. Вот ты лежишь и будто бы дремлешь рядом со мной. Я могу не только прикоснуться к тебе, но даже, если захочу, ущипну легонько тебя или осторожно проведу мизинцем одну линию через лоб, нос, подбородок; подбородок, как всегда, плохо выбрит, и мой мизинчик начинает буксовать в черно-синей щетине. Ты, оказывается, не спишь. Ты раскрываешь слепые веселые глаза, поворачиваешься ко мне и целуешь куда попало. И это не ты... Ты будешь собой завтра, послезавтра или через неделю, когда я приду к тебе на урок. Ты просто положишь на клавиши руку, и я услышу мягкий пульс летнего утра... Еще только предчувствие дня и жизни — но солнечный луч вот-вот коснется лба, бережно прервет сон и повелит раскрыть ясные глаза... Бетховен, Пасторальная соната...

"Полифония — это школа слуха", — дежурно скажешь мне на другом уроке, и я радостно вернусь в ее первый класс! А теперь, дети, играем так: надо хорошенько слушать, как бы поймать в сеть слуха длинный звук... Ловите его, ловите! Выбирайте из спутавшихся водорослей трех других голосов... Хорошо!..

Растрепались волосы, склонилось к клавиатуре розовое счастливое ухо: получилось, получилось!..

"Кого любит бог,— вспоминаю итальянскую пословицу,— тот любит музыку..."
Какое это счастье — быть богом, хотя бы маленьким,— богом четырех голосов. Вот я вершу их, сталкиваю и разнимаю их, сплетаю из них джунгли и туда посылаю тему, а как-то она выберется, пустили ведь девчонку в одном платице... Не бойтесь, говорю я, на то я и бог, чтобы обещать. Она выберется без единой царапины, осмотрите потом ее руки и коленки...

Просыпаюсь от стука. "Войдите!" — кричит Майка. Я высовываюсь из-под одеяла отругать Гарика, что так рано, и тотчас ныряю назад. На пороге культмассовый сектор, Игорь Демидов. Тракторный завод продолжается!

— Доброе утро! Вот не думал, что вы еще спите. Половина двенадцатого.

— А мы ночью занимались,— пищит под одеялом Майка.

Игорь пришел к ней, это ясно. И мне наконец не завидно! У меня теперь тоже такое есть — свидание, смущение... Сейчас скажет что-нибудь не то.

— Я тут фотографии принес. И еще... Договориться о будущих концертах.

— Да, но мы должны встать и одеться. Выйдите на минутку.

Игорь вышел, и мы, выскочив из уютных постелек, одевались и одновременно убрали бигуди, грязные тарелки. Майка даже пол успела подмести. И юбочку клетчатую надела. Этаким хорошенький подросток, восьмиклассница-пионервожатая.

Игорь стоял в холле, читал объявления. Там как раз наше: "Девятнадцатый номер просит вернуть зеленый чайник, взятый на кухне второго числа. Обещаем вознаграждение".

Прихожу из умывалки — Игорь с Майкой уже сидят за столом и смотрят фотографии. Игорь в синем свитере, Майка в красной клетчатой юбке. Ансамбль!

— Ой, ну я-то! — вовсю кокетничает Майка.— Рот открыт, воротник набок. Ты что, нарочно принес?

Вот это темп! Они уже на "ты".

— Тебе не нравится? А, по-моему, ты очень хорошо вышла,— торопится Игорь. Он, конечно, не готов к такой непосредственности. Он даже покраснел в тон Майкиной юбке. Ему, наверное, года двадцать два.— Вот певица Вера, вот баянист, я много напечатал.

И правда, много. Весь стол завалил. И на каждой фотографии — Майка. Майка улыбающаяся, Майка с флейтой у губ, Майка, надевающая сапоги.

— Мне теперь покою не дают! Когда снова придете?

— Что, понравилось?

— Неужели нет? Мы там подумали, неплохо бы вас закрепить. Надо переговорить с вашей администрацией. Оформить как шефство.

— Ой, да ну шефство! — закапризничала Майка,— Терпеть не могу это слово.

Будем просто приходить и играть.

— Хорошо,— согласился сразу Игорь,— просто концерты, да?

Он покорно смотрел на Майку, и покорность была ему к лицу. Новая Майкина флейта! Пришел, оказывается, и с конфетами.

— Ура,— воскликнула Майка,— мой любимый "грильяж"!

Мы пили чай и разговаривали о жизни.

— У вас тут богема,— уважительно сказал Игорь.

— Просто убрать вчера не успели. И Майечкина очередь, между прочим.

Пусть знает заранее, что Майка ленивица, а то будет потом: такая-сякая...

— А портрет это чей? — не расслышав ехидцы, спросил Игорь.

— Герберта фон Караяна, австрийского дирижера. А этот — композитора Малера.

Твой любимый композитор, правда, Майечка?

Портрет Малера подарил Майке виолончелист Саша Потапенко. Он приходил со своей виолончелью, как со служебной овчаркой, и за свою угрюмость был разжалован Майкой в рядовые обожатели.

— А это что за книга? Гете?

— "Доктор Фаустус" Томаса Манна.

— Можно почитать?

— Возьмите, только это сложно, о музыке. Нам-то сейчас читать некогда.

— Да, занятий, я слышал, у вас много. А сколько надо в день заниматься, часа два?

— Практически весь день,— попробовала я пококетничать профессией.— А впрочем, кому как. Майечке бы и двух хватило, она у нас способная,

— Нет, я не выдержу! — закричала Майка.— Я лучше повешусь! Два часа, подумать только! Дуть два часа, и все впустую. Я бы за это время двадцать печек раздула.

Мы говорили полувсерьез, мы-то уже привыкли к разговору-игре, в котором поощряются полутона, ирония и недосказанность. Мы даже не старались выиграть: Игорь пришел к нам в первый раз и не знал правил.

— Придешь? — спрашивает меня Сева.— Будем телевизор смотреть, а потом погуляем...

"Потом погуляем" — это всегда будет так: он неумело, почти под мышку, возьмет тебя под руку, и вы ходите взад-вперед возле его дома. Всякий раз окажется заново, что Сева ниже тебя, тебе всякий раз заново сделается стыдно за свой рост. Ты вспомнишь давнишнюю школьную привычку поджимать ноги в коленях и успокоишься: теперь вы равны. Вы ходите взад-вперед у его дома, проходите мимо стройки, отгороженной высоким забором. На заборе афиша, и это то, о чем вы говорите

— Знаешь, до сих пор помню первую свою афишу. В десятилетке еще, классе в восьмом, играл в каком-то сборном концерте. Случайно, на другом конце города, увидел афишу. Был так поражен своей фамилией напечатанной! Даже пальцем потрогал...

И снова разговор о конкурсе, о концертных программах — все о Севе, да о Севе... Сама не знаю, что я хочу от него! Чтоб он расспрашивал про меня, про маму с папой... про Сад? Вряд ли ему интересно...

Но тебе уже слегка неинтересно и его слушать. Ты думаешь о другом Севе...

Да, пусть он сядет за рояль, снимет очки и тихо улыбнется мазуркой Шопена...

Господи, знаю в ней каждую ноту, сама играю ее, и она уже чуть-чуть надоела мне своею изящной неспешностью. А ты, что в тебе, наконец, такого?! У тебя слабые глаза, небольшие, почти женские руки, ты не отрываешься от пустого телевизора, ты равнодушен к своему учительству в консерватории... И немножко ко мне, я уже чувствую... Про себя я все знаю. Говорят, я добрая, и осколки разбитых сервизов все

еще колют мое сердце и не дают заснуть. Я люблю родителей, не могу без музыки... Без тебя... Но отчего никто на свете не заплачет, когда я сыграю мазурку Шопена?! Ах, да, пианизма еще не хватает. Пианизм, тысячу раз пианизм — и все в порядке: вот они, слезы. Только садится за рояль Леонид Яковлевич со своим блестящим, умным пианизмом, играет Шопена — и тоже никто не плачет, Цветы, восхищение, а слез нету.

И все-таки надо заниматься!

— По шесть часов. Иначе не выучишь к академконцерту...

Мы прощаемся. Сева провожает меня лишь до трамвайной остановки. Не хочу, чтобы его видели со мной возле общежития. И так уже разговоры... И Леонид Яковлевич очень странно... Я слышала, как он сказал намеренно громко: "Севочка, я приятно поражен вами. Вы похудели. Признайтесь, вы стали по утрам бегать?.."

— Ну, как Томас Манн? — спрашиваю я у Игоря. Он приходит к нам каждое воскресенье.

— Да... интересно... Сложно только, когда о музыке, и вообще... Леверкюн с чертом разговаривает, почти как у Достоевского, да?

По воскресеньям у нас в "девятнадцатом номере" собирается целая семья: мы с Майкой, Гарик, Роб и Игорь. Роб умница, тихий скворушка,— а мог бы с Игорем поругаться. Игорь вообще инициативный мальчик, даром что без году неделю к нам ходит.

— Нет, я все отлично понимаю. Вот вы, например, пианисты, и это профессия нужная, я бы сказал, жизненно необходимая. Поглядишь, так теперь всюду детей на фоне обучают. А Майка что?! Эта флейта ее — нерентабельный инструмент. Ишь, как скоро культмассовый Игорь стал распоряжаться Майей Шихразеевой! То подойти боялся... А Майка молчит, согласная. О, эти восточные женщины!

— Слушай, чего ты порешишь! Майка будет отличной флейтисткой, а среди женщин это редкость, — с ленцой сказал Гарик.

— Ну и что! Лауреатом в Женеве все равно не станет, будет как миленькая сидеть в какой-нибудь дыре в оркестровой яме. Ты-то, небось...

Что мне в культмассовом Игоре не нравится, так это его манера вольготно использовать выуженные у Майки сведения о консерватории, музыкантах. "Лауреат", "Женева", "оркестровая яма" — все явно приобретено на свиданиях.

— ...Ты-то на флейту не пошел, фоню выбрал...

А пуще всего раздражает, что он называет рояль "фоню". Эдак по плечу: доступен, мол, и нам ваш профессиональный жаргон.

— Игорь, прекрати! Говори "рояль" или "фортепьяно".

— Ох, извиняюсь, фортепьяно.

"Фортепьяно" он выговаривает как "фортапяно".

— А что ты, собственно, ко мне привязался! — сказал Гарик, вставая из-за стола и идя к роялю. — Ничего я не выбирал, так само получилось.

Он начинает играть что-то свое, колкое и элегантное, и все сразу замолкают. Правда, Майя Шихразеева демонстративно вышла вон из комнаты, обидевшись за Игоря.

Но я-то знаю, что почем! Эта послеобеденная хула флейте, с чувством произнесенная Игорем, задумана и срежиссирована самой флейтисткой. Первая репетиция была примерно такова: "Ах, Игорь, флейта — это не мое дело. Знаешь, когда я была в Москве в позапрошлом году, мне один режиссер в метро предложил сниматься в советской версии "Шербургских зонтиков". Я отказалась и теперь так

жалею, ты не представляешь..." Ну, а Игорь, добрая душа и послушная глина в руках восточного режиссера: зачем, мол, моей будущей жене на дудке играть?

Киноактрисой быть, разумеется, тоже ни к чему, можно занятие и посolidнее разыскать. "Фоно", например...

— Знаешь что, Игорь,— говорю я, когда Гарик надолго замолкает,— Майка — флейтистка от бога! Ты хоть слышал ее? Одни губы чего стоят, а дыхание — как у чемпиона по плаванию. И никогда она свою флейту не бросит, она тебя просто за нос водит...

— Точно, чувак! — Роб по-братски положил руку на Игоревое плечо. — Девушка с такими губами, да еще с флейтой — это бож-жественно!.. Еще греки древние флейтисток рисовали на этих, как их... вазы-то... во-во, на амфорах...

— Слушай,— сказал Гарик, снова начиная играть, и мы снова замолчали,— ты сказал, что все теперь учатся играть на фоно. Но знаешь, если действительно выучатся все и ни один не возьмет в руки флейту, все, музыка кончится. У нас каст не существует. Ни среди инструментов, ни среди музыкантов. Кто бы ты ни был: третий ли кларнет в областной музкомедии, учитель в музыкальной школе, солист в "Ла Скала" — ты должен быть музыкантом. Это единственная мера. Так, по крайней мере, должно быть, а если нет, то при чем здесь музыка! Может быть, рентабельность, как ты говоришь, может быть, фортепьянный всеобуч...

— Да... да... — соглашаюсь с Гариком,— но только не музыка.

Сама что-то говорю, кого-то жарко убеждаю и остро чувствую, как проклевывается во мне чувство музыкантской неполноценности...

Нет у меня абсолютного слуха, нет "удобных" рук... Октавные пассажи, двойные терции — вся эта обязательная пианистическая кухня у меня тоскливо чадит...

"Бабуся, хватит, стул просидишь", — то и дело вытаскивает меня Гарик из тридцать второго класса. Ему не понять, как можно биться над одним местом по несколько часов — оно у него само "выходит"!..

По высокому профессиональному счету я вряд ли музыкант... Больно признаваться! Впрочем, за три с половиной года к боли привыкаешь и даже не чувствуешь, что терпение — это достоинство...

И все же, все же!..

Сажусь играть Баха, и душа проглядывает сквозь раздражение, шепчет мне, что есть и другой счет, другая — единственная! — вершина... Она так изумительно высока, так непостижима, что доступней всего объявить и ее невозможной, но я играю Баха и нащупываю тайную тропинку...

14

"Для выдачи диплома на звание свободного художника требуется, чтобы ученик при отличном (то есть 5) знании главного предмета ни в одном из остальных не получил по экзамену менее 3-х баллов..."

Гарик приходит к нам утром, садится за наш разбитый рояльчик и негромко, остренько наигрывает мою любимую пьесу Дезмонда "Take five".

— Хорошо бы сейчас за город,— говорит он,— на лыжах покататься. Последний ведь снег...

— А давай просто так,— говорю вдруг я.— Ну их, лыжи! Как вспомню этот зачет на первом курсе! То костюма нет, то снег уже растаял... Из-за физкультуры чуть было до специальности не допустили.

— Так поехали? — Гарик встает из-за рояля.

Что это с ним? Бросил "Take five", мечтает о лыжах.

— Давай,— говорю я, слегка озабоченная,— только ты подожди, я чего-нибудь поспортивнее надену...

Ох, уж этот спорт в консерватории! Полненькие девочки и тощие юноши в шикарных финских тренировочных костюмах. С первого курса помню, как бегали 500 метров в парке возле консерватории, и пьяненький дядя вовсю потешался: "Ну дают! Ну бегают, а! Чисто сардельки... Да я проползу быстрее, чем вы пробегете. Эй, учитель, заводи секундомер, сейчас я вам, законсервированным..."

А, пусть его! За пять лет привыкнешь к насмешкам из-за своей неспортивности.

Неспортивности? Как бы не так! Вот ты выходишь к роялю, как будто взбираешься на трамплин. Бледная и сосредоточенная, садишься на стул и ждешь, пока разорвется сердце. Оно не разрывается, оно приказывает, и ты кладешь на клавиатуру готовые к броску руки. Вдыхаешь глубоко и, не закрывая глаз, бросаешься вниз... И рояль мощно взрывается двадцать четвертым этюдом Шопена! Но взрыв — только начало. Тебе еще перебороть себя, рояль, сцену. Где-то к середине, вдруг оглохнув от напряжения, начинаешь как бы вяло ощупывать себя: неужели это я... и все играю, играю... ну почему так долго... скорей бы конец какой угодно, только конец... бросить, опустить руки... И тут же, словно розгой по обнаженным нервам: вперед! Сожми зубы, вот так, крепче, и вперед, вперед...

Пальцы теперь справятся, доиграют...

И когда, как в желанный берег, врезаешься в последний аккорд — так счастливо и так жалко покидать гудящую позади пучину!

— Гарик, я готова. Хотя бы на второразрядницу похожа?

Мы едем в электричке минут сорок. Гарик в темных очках, молчит. Я тоже молчу, но долго не выдерживаю: солнце слепит, и я чихаю, да так громко, что на меня оборачивается полвагона: "Девушка, будьте здоровы!" А Гарик даже не улыбается... Мы выходим из вагона и медленно куда-то идем. Какие-то кусты.

— Вот тут-то я тебя и зарежу, — говорит вдруг Гарик, и я ступаю от неожиданности в глубокий снег. Гарик кривенько усмехается: — Боишься, бабуся! Не бойся, живи себе...

Снег набился мне в сапог, но я не вытряхиваю.

— Гарик, что вообще с тобой? Из-за двойки все?

Ему никак не пересдать двойку по политэкономии. А все, наверное, из-за черных очков.

— Ты, бабуся, как в первом классе: двойки, пятерки...

— Внучек, не передразнивай, а возьми хоть раз учебник в руки. Знаешь хоть, что такое прибавочная стоимость?

Он сильно поддал ногой ледышку, и та заскользила с легким стуком по разъезженной тропе. Я побежала за ледышкой, нарочно смешно припрыгивая, но Гарик не смеялся.

— Подожди! — крикнул он мне в спину.— Я ведь ухожу из консы...

Я поддала ледышку в последний раз, и она развалилась на куски.

— Из-за двойки уходить из консерватории? — снова глупо спросила я. — Гарик, да ты что?.. Ты родителям написал?

— У отца уже один инфаркт был, хватит.

— Но это же несерьезно!

— Что несерьезно, не своим делом заниматься? "Детка, левой ручкой отдельно, а теперь правой, а теперь давай соединим" — это твое дело, бабуся. Я могу играть свое, понимаешь? На черта мне этот пудовый Брамс, на черта лекции, экзамены. Я понял, никто меня не научит, что сам могу...

— Неужели никто?

— Никто! — так твердо сказал Гарик, что я споткнулась.

— Вот уж не знала, что ты хвастун...

— А, ничего ты не понимаешь, бабуся! Я не собираюсь ни в лауреаты, как твой Грачев, ни в аспиранты. У меня есть свое дело, и я буду заниматься им в любом случае, закончу консу или нет. Просто глупо тратить время...

— И все-таки... что ты собираешься делать? Свободных художников сразу армия поджидает.

— Ну и что, отслужу. Что я, в армии не пригожусь? Да в любой музвзвод. Понимаешь, я ведь не просто ухожу. Роб меня обещал в свой диксиленд...

— О, этот Роб! Еще один свободный художник!

— Ничего ты не знаешь, бабуся. Роб — талантливый парень, он и без консерватории, знаешь, как играет? В общем, это для начала. А потом видно будет. Съезжу к Лундстрему...

— Слушай, это все правда? Ты не треплешься? Я не верю.

— Она не верит! Да я уже Леониду сказал.

— А он что?

— "Знаете ли, Гарик, среди моих учеников четыре лауреата, пять дипломантов — но ни одного профессионального лабуха. Вы сделаете мне честь..." Потом поговорили, он вроде согласился. Ну, не могу я зудеть из года в год одно и то же! Концерт, соната, прелюдия и фуга, этюд, пьеса. Концерт, соната...

— Но это ужасно, — сказала я вполне искренне, — ты уйдешь, и вся наша семья распадется. Майка вон выйдет замуж. Каждую неделю теперь к родителям Игоря ездит за город. У них корова, будет пасти и на флейте играть...

— А чего, он парень вполне, ей такой и нужен, положительный с головы до пят... Слушай, бабуся, — Гарик вдруг остановился и посмотрел на меня в упор, — это правда, что ты с этим... Грачевым?

Я тоже остановилась и слушала, как кричат вороны, запутавшись в черных ветвях.

— Тоже мне, вкус... — начал Гарик с уверенным превосходством, и я изумленно посмотрела на него. Такой худой, длинный, в дымчатых очках, в замшевой куртке с меховым воротником... А у Севы тяжелое драповое пальто, которое толстит его еще больше, старушечья оправа, старушечьи зимние ботинки...

— Господи, он же как рыбина об лед с этими конкурсами! Каждый год, бедолага, мается! Классический неудачник, ты еще увидишь.

Я молчала, чтоб не задеть, не спугнуть внезапно появившееся... Гарик — тоже не музыкант?! Он... пианист... Да, только пианист, прекрасный подмастерье... Были же всякие... блестел пассажами Тальберг, а сиял состраданием Лист...

— ...Прости... я ведь ухожу из консы, но не из вашей комнаты и не от тебя, понимаешь?..

Гарик сунул свою руку ко мне в карман, где уже была моя. Его рука была холодная и крепкая, и мне стало холодно и больно.

15

"Ученик, часто и без уважительных причин пропускающий уроки, подвергается выговору, который принимается в соображение при постановлении о нем отметок на экзаменах".

Лежу на кровати уже третий день. Ни играть, ни есть, ни ходить на лекции, ни на частный урок... Сева не звонит уже неделю. О да, он занят, у него впереди конкурс, но неужели конкурсу повредит, если Сева снимет трубку, наберет номер и просто скажет: "Приходи сегодня, а? Будем телевизор смотреть, а потом погуляем..." И я сама не разрешу ему смотреть телевизор и гулять со мной. Он будет заниматься весь вечер, а я тихонько сидеть рядом...

Ничего не хочу! Слушаю, уткнувшись в подушку лицом, "Страсти по Луке" Кшиштофа Пендерецкого. Христос взошел на Голгофу-XX, и я, лежа на кровати, корчусь от жгучих терпких ударов бичей в оркестре. На первом курсе были другие "Страсти"— семнадцатый век, Генрих Шютц. До детскости чистая музыка. Как моя жизнь тогда... А теперь я знаю: музыка — это время...

— Ну, и вакханалия авангардизма,— говорит пришедшая с улицы Майя Шихразееза и убавляет громкость.— Ты что это валяешься? Сегодня же четверг, не пойдешь на специальность?

— Не пойду,— говорю я и вдруг вскакиваю.

Сегодня же Сева будет играть, как я могла забыть! Спешно переодеваюсь, кое-как закалываю волосы.

Равеля должен играть! Я ведь соскучилась не столько по Севе — по Равелю. Все Шуберт да Шуберт, да Бах, да Мусоргский, да вот Пендерецкий, а через час будет Равель... Кисейное платье после недельного траура.

Прихожу самая первая и сажусь в угол, чтобы Сева меня не видел.

А он как бы испыт конкурсом (последний шанс!): вял, бледен, подолгу не отпускает левую педаль. Устало снимает руки и не смотрит на Леонида Яковлевича. А тот вскакивает мгновенно:

— Мои ученики! Я, наверное, слишком молод, чтобы понять вас... - Леонид Яковлевич почти бегал по классу, и вслед учительскому бегу все прилежно вертели головами.

— Мне, мне двадцать шесть лет, а вам шестьдесят пять! У меня впереди вся жизнь, я, а не вы, еще буду любим, счастлив, смертен. Мне все внове, а у вас десять раз прочитанная, захватанная вашими же пальцами книга жизни. Я не умею вас учить! Бессмысленно мне, кудрявому, гладкокожему юнцу, убеждать вас променять бессмертие на грешок. Я молод, и я сдаюсь. Я должен выйти и почтительно, без стука, прикрыть дверь, чтоб не мешать вашей медитации. Я, пожалуй, пойду покурю в туалет, только, Риточка, угостите сигареткой...

Урок начался!

Леонид Яковлевич, задохнувшись, садится за второй рояль, играет из Равеля коротко и изысканно. Сева что-то возражает... Пальцами возражает. Леонид заводится,

молодеет, предлагает Севе дерзкий юный темп, и Сева не выдерживает, отстает.

Леонид ликует и хлопает в ладоши четвертями:

— Темп, дружок, темп! Не трусьте!.. Ах, Сева, то, что хорошо в Шуберте, невозможно в Равеле. Шубертовское простодушие здесь — это та простота, что хуже воровства. А духовность? Просто-напросто окажется бесполостью...

Когда урок кончается, я опускаю голову и остаюсь сидеть в углу. Пусть все уйдут, пусть Сева уйдет, и я останусь одна. Как раньше. Пусть все идет по-старому...

Но Сева встает из-за рояля и, улыбаясь поджатыми губами, говорит мне тихо:

— Куда ты пропала? Не звонишь, не приходишь...

И я выскакиваю из своего угла навстречу Севе, и я счастлива! Выходим из консерватории вместе.

— Ну, как тебе сегодня шеф? Не в духе, по-моему.

— А, по-моему, в ударе! Знаешь, я сегодня слушала каждое его слово, и, быть может, впервые что-то поняла. Когда он сам заиграл, мне тотчас на ум пришло: роскошь... Не пошлая, не жирная роскошь вроде плюшевых занавесей, нет, хрупкая и невесомая, прозрачная, как севрская чашечка...

— Которую мы кокнули — угрюмо сказал Сева.

— Ох, не вспоминай!.. Понимаешь, для него музыка — это роскошь, севрский фарфор, трепет алмазной грани... Нет, не то!. Музыка не ради музыки — вот! — ради жизни! Он ведь не играет — музыкой любит жизнь... Да, да, не перебивай! Он любит, наслаждается, нежит и холит жизнь. Вот откуда блеск его ума, его поразительное исполнение французов — именно французов, заметь! — его музыкантский шарм. Просто он угоден жизни. Он плоть от плоти ее... А мы с тобой... Мы, наверное, еще не родились, еще "агу" кричать не умели, а уже умели переживать, уже страдальчески закатывали слепые глазки. У нас уж очень культура переживаний высокая...

— Не знаю, не думал, — устало перебил Сева. — Я рассуждать о музыке не хочу, не умею. Я играть хочу. Мне необходимо играть. У меня больше ничего нет, — почему-то шепотом сказал он и сжал мне руку под мышкой.

И мне вдруг стало обидно. Все хотят играть, всем необходимо играть, у всех больше ничего нет, а как же я?.. Для чего я им нужна?! Или я щепочка, подброшенная в огонек необходимости?..

— Играй, — сказала я сухо, — играй себе, раз необходимо.

— Легко сказать! Пока ты не лауреат, ты никто, будь хоть семи пядей во лбу. А станешь лауреатом, все двери на сцену откроются, как будто волшебное слово выучил.

— Выучишь. У тебя ведь есть последний шанс... Ну, я побежала, мой трамвай.

— Не уходи, — вдруг сказал Сева, — пойдём ко мне. Мама приехала...

Мама! Господи, у тебя есть мама. Я думала, ты один на всем свете.

Мать вдруг моложе своего сына! У нее загорелое лицо с широко расставленными выпуклыми коричневыми глазами, яркие ненакрашенные губы, девичья стрижка.

— А я-то думаю, в чем дело! Выхожу из самолета, еду в автобусе, в трамвае — все в этих самых полушубках. Ну, думаю, пока я с юга вечность не выезжала, здесь униформу новую ввели. Значит, говоришь, эти полушубки называются дубленки?

— Да, дубленки,— смеюсь я. Мне все нравится в Нине Константиновне: милое живое лицо, уютные полные руки, мягкое, с придыханием "г".

— Юг — это действительно жизнь! У нас все откровенней, проще, у нас не мелочатся из-за копейки, На юге даже умирать не страшно. Кстати, Весик, мне в управлении уже точно сказали: институт искусств открывается в этом году. Давай-ка домой! Сколько можно по частным квартирам болтаться...

Я вдруг жалко краснею и начинаю теребить пальцами распускающуюся складку на юбке. Я чувствую, что на меня никто не обращает внимания. Разумеется, Сева представил меня: "Знакомься, мама, моя ученица", — но сделал это с таким вдруг внятным безразличием, что во мне тотчас оборвалась тоненькая счастливая ниточка, вытянутая из кудели недавнего одиночества. Но уже пошли-поехали обязательные для знакомства разговоры и рассматривания: она — в упор, с головы до ног, всю насквозь (кто такова, зачем пришла, откуда это право называть своего учителя на "ты")... Я что-то говорила, непрестанно краснея...

А потом, уже в общежитии, мне долго не заснуть, лежу с открытыми глазами и успокаиваю себя, что бессонница просто из-за какого-то идиота, мутно играющего над нами упражнения Брамса.

Но Сева, Сева!.. Почему он ничего не сказал обо мне, ничего такого... Ну, хоть бы немножко заикнулся, хоть в интонации потеплел. "Знакомься, моя ученица"... — и это все, и я ему только ученица!

Даже Майка вчера заметила: "Что с тобой? Худая, зеленая..." И когда я рассказала... так, немножко... она покачала головой: "Да-а... Знаю я этот тип. Гениальные музыканты! Они заняты только музыкой и в лучшем случае собой, с какой стороны ни подойти. С ними безумно сложно!.. Посмотри в зеркало, ты же извелась..."

"Да нет, Май, я просто много занималась, устала".

"Тоже зря! Удел все равно один — учительница музыки, так какого черта! Я это на первом курсе поняла... Ссутулиться, испортить зрение... Для чего?! Чтобы какая-нибудь бездарь в музыкальной школе ковыряла под твоим руководством "Болезнь куклы"? Нет уж, спасибо, предпочитаю остаться здоровой и молодой... Послушай меня и прекрати жертвы!.. Поехали с нами в воскресенье за город... И выкинь наконец этот свитер! Он же на тебе, как балахон... Что значит "удобно играть"? Прежде всего, это неряшливо. Давай распускай, а я свяжу тебе последний крик — шапку с "косичкой"... Между прочим, Гарик снова звонил. Знаешь, побереги его, не пробросайся. Еще вопрос, гений ли твой Сева. А Гарик — это Гарик, хороший парень, только бы не спился... Хватит, хватит тратить себя на иллюзии! Я это вовремя поняла и сейчас отдыхаю. Теперь я на первом месте, Игорь буквально нянчится со мной... Знаешь, я подумала, и, наверное, выйду за него замуж. Никого я лучше не найду".

Слушаю Майку, покорно начинаю распускать свитер, а сама с тайной тоской вспоминаю недавнее...

... Однажды, когда мы сидели с ним возле телевизора, погас свет... Сам погас, мы не выключали! И мне сделалось немного страшно. Я сидела не шевелясь и не дыша, и Сева, кажется, тоже... Мы долго так сидели, а свет все не зажигался... Сева заговорил тихо-тихо: "Я не знаю, что это... Я так долго был одинок: ни матери, ни сестры. Уехал из дому в двенадцать лет... Десятилетка, консерватория — все в одиночестве. Каждую клеточку своего тела приучил молчать... И вдруг ты... Мне так легко с тобой, ты меня оживила. Не знаю, как благодарить тебя..." Он нагнул лохматую

голову и стал целовать мои руки и трясущиеся, как на сцене, колени... Мне стало страшно, что сейчас свет зажжется и все кончится... "Не уходи,— жалобно попросил Сева,— мне будет так плохо без тебя... Останься..."

16

"Директор, инспектор и преподаватели, достигшие 75-летнего, а преподавательницы — 65-летнего возраста — увольняются".

В среду долго сижу в тридцать втором классе, жду Севу. Он обещал зайти за мной и проводить до остановки. Всего лишь. Но мне и этого хватит. Сейчас, когда до прослушивания осталось две недели (когда дома его мама!), ничем посторонним заниматься нельзя. Все должно быть подчинено конкурсу. Жду и волнуюсь не меньше, чем Сева. Как будто не прослушивание — свершится всеобщее утверждение нас вместе и каждого поодиночке. Меня утверждают между прочим, никто этого не заметит, а я почувствую. И потом мы поедем ко мне домой. Просто так... Сева поиграет моим родителям Грига, они будут сначала смущаться, а потом полюбят...

Долго что-то нет Севы... И я снова начинаю играть первую часть Большой сонаты Шумана. Все вдруг получается! Завтра приезжает Леонид Яковлевич из Прибалтики, и я иду к нему на урок. В первый раз без стыда и страха! Я готова к уроку.

Попробую сказать нечто свое...

Я не услышала, почувствовала Севу за спиной. Как это он так тихо вошел? Или я увлеклась...

— Господи, Сева, что с тобой?! Ты бледный такой...

Он стоял и смотрел сквозь меня.

— Что случилось? Сядь, успокойся.

— Леонид Яковлевич умер...

— Что... Ты с ума сошел! Он же еще не приехал...

— Приехал. Я их встречал... И встретил!.. Анна Вениаминовна сказала, что ему стало плохо с сердцем еще в дороге. Кое-как доехал, вышел сам... с чемоданом... И упал...

Сева закрыл лицо дрожащими руками, и я в первый раз увидела, как он плачет.

— Этого не может быть... У меня ведь завтра урок... я в первый раз все сделала...

Он затряс головой и проговорил глухо:

— Ничего больше не будет...

Я молчала, разучившись говорить, смотрела, как он плачет, сжимая свою лохматую голову, и вспомнила: "Сева, я согласен. Лохматая голова — это ваш стиль, но попробуйте мне в старости облысеть!.."

Неужели никогда больше никто не скажет мне: "Музыка — это тайна, но ради бога, детка, не становитесь криминалистом!.."

О, воскресни, консерваторский дух! Воскресни, трепет шагов по мраморной лестнице... Воскресни, мой корявый пианизм и благоговейный страх перед сединой Леонида Яковлевича...

Воскресни и не бросай меня одну, моя молодость, моя консерватория!..

"Художественный совет состоит... из профессоров консерватории... На художественный совет возлагаются обязанности... решать вопросы возведения в высшие звания лиц, преподающих в консерватории".

За день до прослушивания я все-таки пришла к Севе. Он сам попросил. Сначала послушать его в зале, а потом выпить дома чаю... Дверь открыла Нина Константиновна. Она кивнула мне и пошла на кухню.

— Сева, мне кажется, ты неточно рассчитываешь звучность в коде.— Я вдруг осмелела. В конце концов, ему важно мое мнение! Он сам говорил... А Нина Константиновна не может заменить меня, она всего лишь учительница пения в средней школе.— Ты слишком рано приходишь на форте... И левой педали во второй части многовато. Леонид Яковлевич прав... был...

Сева слушает меня с трогательной сосредоточенностью, поджав губы. Пробует играть по-моему... И Нина Константиновна не выдерживает, заглядывает в комнату: — Будь добра, помоги мне на кухне!

Она даже не называет меня по имени!

Я говорю Севе:

— Попробуй так.— И выхожу на кухню.

Нина Константиновна закрывает плотно дверь.

— Зачем ты трави... трав... травмируешь его! Ему послезавтра играть, а ты треплешь нервы. Перестань!

— Нина Константиновна, вы думаете, что лучше успокоить и сказать, что все превосходно, да? Между прочим, это примета плохая — хвалить перед выступлением...

— Какие еще приметы! Он же расстроен!

— А мне кажется, доволен...

Нина Константиновна бросила на сковородку кусок масла, оно зашипело и брызнуло мне на руки, и я снова ушла к Севе.

И вот, прослушивание... Я сижу в зале с колотящимся сердцем, остро чувствую, что сейчас происходит с Севой. Он ходит взад-вперед по артистической, бессмысленно смотрит на себя в зеркало, ложится на диван, вскакивает, пытается глубоко дышать, неумело закуривает, обжигая пеплом пальцы... Наконец выходит, и я бледнею... Какой ужас, у него все брюки заляпаны грязью! Как всегда, опаздывал, искал такси и вот явился в грязных брюках... Нина Константиновна сидит рядом со мной и сыто улыбается. Неужели она не видит?! Какое у него потерянное лицо... И кланяется неловко, торопливо. Я знаю всю его программу, знаю наперечет все опасные места, закрываю глаза у края двух-трех пропастей, и при неудаче не он, а я первая полечу вниз, обдирая на острых камнях платье и кожу... Сзади, в середине зала, за столами, накрытыми зеленым сукном, уставленными пепельницами, бутылками с водой, сидит жюри. Только что отыграл Севин предшественник, Женя Ковалевский со второго курса. Женя прелесть: румяный, кудрявый, восемнадцатилетний, расстрелял всех стопроцентным попаданием в "Мефисто-вальсе"!..

Сева начинает, а я вдруг не могу слушать. Слышу только свое сердце, такое громкое, что впору встать и выйти, задевая чьи-то колени, прически... Но я остаюсь, и музыка вжимает меня в кресло.

Сева играет, и еще долго будет играть, но мне уже все ясно. Майка, кажется, права: он слишком занят своими ощущениями. Он играет только себя... Ах, если б погас свет!..

Я закусываю нижнюю губу и отвожу от сцены покрасневшие глаза.

— Это подло, подло, что они зарезали! Я никогда так удачно не играл, понимаешь ты или нет?! Если бы Леонид Яковлевич был, он бы не дал... Если бы он был жив!

— Сева, миленький, ну, успокойся! Это ведь не конец, еще что-нибудь будет, через два года Шопеновский конкурс...

— Ду-ура! Как ты не понимаешь!.. Этого щенка пропустили, потому что ему восемнадцать лет, а мне почти двадцать семь, мне все теперь поздно. Все, абсолютно все! Это был последний шанс!..

Дура... Это я?.. Ах так?! Тогда слушай: ты рохля, ты вышел в грязных брюках, не сумел даже поклониться как следует. Да за один такой поклон нельзя пропускать на международный конкурс! А еще и лохматая голова, и кое-где мазня... А Шуберта твоего вредно слушать — заразишься...

Я промолчала и сказала неожиданно твердо:

— Пусть дура, но я скажу все, что сегодня почувствовала... Ты слишком ушел от всего и всех, ты зарылся в себя. Ты прекрасный музыкант, все это знают, но тебе сегодня не было дела ни до кого.

Твоя музыка холодна, это какой-то разреженный воздух, где уже дышать трудно. Доброты тебе не хватило... Все было на месте, и не было доброты... А этот мальчик...

— Так ты... ты тоже?! И ты... чтоб он прошел?

— Им был нужен только один человек... И, если честно, сегодня лучше, добрее играл Ковалевский...

— Не говори мне о нем, слышать не хочу! Как ты можешь!..— У Севы задрожали губы, и мне бы легче стало, если бы он ударил меня.— Ты... Они зарезали меня специально, заранее договорились зарезать, а ты...

— Кого они зарезали?! — заорала я, не обращая внимания на вошедшую со стаканом воды Нину Константиновну,— Музыку, душу твою?!

— Да, музыку!.. Да, душу!..— Сева схватил стакан и, захлебываясь, выпил.

Повернулся ко мне спиной, но я обошла, чтобы посмотреть ему в лицо.— Да ты... ты просто предатель!

Нина Константиновна что-то мне говорила, оттаскивала Севу — мне было все равно, — ...отдал конкурсу всю свою жизнь... детство... консерваторию... Ничего не оставил! Ничего?.. Ну, не может этого быть! Это ложь, слышишь! Фальшивая нота!..

— Замолчи!— с ненавистью закричала Нина Константиновна.— У Севы абсолютный слух!..

Она всхлипывала, но слез не было.

— Брось, мама! Она не знает, как мне сейчас плохо... Был бы пистолет... И я дернулась от боли.

— Сева, я люблю тебя! Я не знаю, как тебя утешить, я только люблю... Но я все сделаю...

Не помню, как мы успокоились и сели пить чай все вместе: Сева, Нина Константиновна и я... Нина Константиновна, выпив три чашки, сказала мне, выделяя шипящие:

— Послушай, ты не хотела бы сделать стрижку и укладку? Уж очень неряшливо выглядят распущенные по плечам волосы, да еще рыжие...

— Мне не идет стрижка,— сказала я, вдруг не покраснев.

18

"Вакационное время по консерватории считается с 1 июня по 1 сентября".

Все каникулы читаю одно-единственное его письмо: "Здравствуй и прости, что пишу карандашом. На почте нет почему-то чернил. Живу в общем нормально. Еще идет заочная сессия, но Гринько уже отыграла, поставили 5 с минусом. Она все-таки молодец, умеет собираться. Дал ей Рахманинова, Второй концерт. Буду здесь до шестого июля. Мама уже уехала, зовет домой. Письма твои все получил. Молодец, что занимаешься, надо явиться на пятый курс во всеоружии. Кстати, недавно Гилельс играл по телевизору Четвертый концерт Бетховена. Слышала? По-моему, темп во второй части медленноват..."

И это все. Было, правда, в конце "целую тебя", но я так часто читала письмо, что поцелуй стерся и почти исчез.

И больше ни одного письма... Зато объявился вдруг Гарик: "Бабуся, как ты там? Я доволен. После Элисты рванем в Грозный. Не как-нибудь - все по столицам да по столицам! Пришли сейчас ребята, спрашивают, кому пишу. Сказал, невесте. Каково сказал, а?!"

Я сидела целыми днями дома, сначала просто сидела, а потом стала заниматься. Когда уж все это кончится! Все мои друзья, подруги где-то на море, на реке, все блаженно лижут мороженое... А я... учу Большую сонату Чайковского.

Медленно и бездумно (думать жарко!) проигрываю первую часть. Потом еще раз... Начинаю вяло, потом разыгрываюсь немного.

И вдруг, плюнув на жару, на дремоту, на ежедневные слезы под подушкой, начинаю снова. И в темпе, в темпе! Мощно, гордо... Потом, когда пальцы уже не играют, плавают по клавишам, бросаю расстроенный "Красный Октябрь" и иду к проигрывателю слушать, как играет Большую сонату Рихтер, играет стремительно, сметая все вокруг...

А завтра все повторится... Сначала к почтовому ящику... Пусто!.. Снова беру стершееся письмо: "Здравствуй и прости..." Снова сажусь за пианино. Потом слушаю Рихтера и рассматриваю свои руки... На пятых пальцах мозоли, ногти коротко острижены, не ухожены. Завтра же сделаю маникюр!..

Но встану назавтра раздраженная: надо заниматься, вот сейчас сяду... сначала сбегая посмотрю почту... посмотрю почту... и заниматься!

Пятый курс. Консерватория — твоя вотчина. Ты барственно прохаживаешься по ее коридорам, движением брови изгоняешь из тридцать второго класса въедливого

первокурсника. Тебе оставляют новые ноты и журналы в библиотеке и бананы в консерваторском буфете. Тебе без обсуждения ставят пятерки по концертмейстерскому классу, тебе даже предлагают работать концертмейстером в вокальном классе, и ты, ничуть не смущаясь, раз в месяц приходишь к маленькому окошку за зарплатой... Да, да... И эти очки со сломанной дужкой, эти свободные одежды (чтоб удобней играть), эта истовость, эти сутулые спины, небрежно заколотые волосы, рассыпающиеся от первого крепкого аккорда,— ах, пятый курс, пятый курс!

— Почему вы не приходите ко мне за расписанием? — сказала вдруг Рита Александровская, уже старший преподаватель.

Я стою у доски объявлений, ищу Севино: "Всем ученикам класса Грачева В. Г. собраться..." Нет почему-то объявления!

И почему Рита со мной на "вы"? Мы же когда-то вместе в спектакле: "Я псих, разгладилось моих мозгов плиссе..."

— Вы же теперь у меня в классе.

— Как... Почему у вас?.. Я же у Севы... у Всеволода Геннадьича...

— Вы ничего не знаете? Он уехал на юг. Домой. Там открылся институт искусств, и он легко прошел конкурс.

— И он... ничего... мне... Ничего не передавал? Сказал... что-нибудь?

— Я не знаю... Так я вас жду. У меня остались четверг и воскресенье - выбирайте. Программа у вас есть?

— Да... есть... Сева... Всеволод Геннадьич дал.

Жестокий пятый курс! Я долго не сдавалась, ждала письма, просто привет — с юга кто-то приезжал - ничего не было. Ни словечка!..

Я что-то делала, металась... Глотала элениум... И вдруг, открыв книгу на случайной странице, затихла:

"Имя покойного - господин Франц Шуберт.

Занятие - музыкант и композитор.

Положение - холост...

День смерти - 19 ноября 1828.

Вдовствующая супруга — (прочерк).

Имущество - 3 суконных фрака... 3 сюртука... 1 шляпа... 1 подушка...

Кроме некоторого количества старых нот, оцененных в ничего, принадлежавшего покойному более не обнаружено...

Вена, 2 декабря 1828.

Карл Вегман, оценщик..."

И все для меня снова... Мне снова разрешено одиночество. Разрешено думать, болеть, читать Томаса Манна, играть на рояле...

Впрочем, что мне еще надо! Такое счастье чувствовать под пальцами упругую плоть клавишей. Мой палец, живой, теплый, медленно наплывает на клавишу и передает ей часть своей жизни и тепла. А в недрах рояля уже начал жизнь первый звук, рожденный моим пальцем. Звуку тесно, он бездумно жаждет свободы и вырывается, прошив черные лаковые стены. И снова в плен, голубчик! Мои уши мгновенно вбирают его в себя.

Разогретые нервные пальцы теперь могут все на свете! Все получается... Не уйду из тридцать второго класса... Ноктюрн Шопена покорно плавится под моими пальцами,

и я не верю, что когда-то Шопен был неудобен, как тесное платье. Пальцы и клавиши заодно. Они воссоединились наконец, а я не готова праздновать. Я на мгновение отрываюсь от медового звучания рояля, подскакиваю к стене и легонько к ней прикасаюсь. В стене остается след моего горячего пальца...

г. Псков.

Журнал "Юность", №1, 1977 г.